
ЖОРЖ
БЕРНАНОС
Под солнцем
Сатаны
•
Дневник
сельского
священника
•
Новая история
Мушетты

Новая история Мушетты

Жорж Бернанос

Аннотация
Бернанос Жорж. Новая история Мушетты
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Аннотация

Жорж Бернанос (1888-1948) - один из крупнейших французских писателей, с которым русский читатель знаком по нескольким новеллам. В настоящий сборник включены три наиболее зрелых и сильных произведения Бернаноса: "Под солнцем Сатаны", "Дневник сельского священника" и "Новая история Мушетты". Писатель ставит проблемы, имеющие существенное значение для понимания духовной жизни человека. Бернанос отдает свои симпатии людям обездоленным. Страдающие, подчас отчаявшиеся, они находят в себе силы для любви, добра.

Бернанос Жорж
Новая история Мушетты

С первых же страниц этого повествования родное имя Мушетты так естественно, так само собой навернулось мне на перо, что заменить его каким-либо другим стало уже невозможным.

Мушетту, героиню "Новой Истории", роднит с Мушеттой из "Солнца Сатаны" лишь их трагическое одиночество, обе они жили одинокими и одинокими умерли.

Да будет милосерд господь и к той и к другой

Ж. Б.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

И вот уже прорвавшийся с запада шквальный унылый ветер - морской, по утверждению Антуана, - разносит во мраке голоса, рвет их на куски. С минуту поиграет с каждым в одиночку, потом собьет в один клубок и, хрипя от злости, забросит неизвестно куда. Последний, донесшийся до Мушетты, еще висит где-то в воздухе, совсем как те осенние листья, что долго кружатся, прежде чем лечь на землю.

Мушетта решила было не надевать башмаки на деревянной подошве - так легче бежать. Сегодня, как на грех, она, по ошибке, сунула ноги в чужие. Ну и плевать! Башмаки Эжена оказались такие большущие, что между задником и щиколоткой может войти вся ее тоненькая пятерня. Зато есть в этом и свое преимущество - если при каждом шаге чуть подкидывать башмаки пальцами ног, они, словно пара огромных кастаньет, так грохочут по щебенке школьного дворика, что Мадам - как они зовут учительницу - просто заходится.

Мушетта легко взбирается на самый верх откоса и, прислонившись к живой изгороди, насквозь

пропитанной влагой, останавливается, чтобы оглядеться. С этого наблюдательного пункта до школы вроде бы рукой подать, но теперь на школьном дворе никого уже нет. По субботам после большой перемены все классы сходятся в парадную залу, главным украшением которой служит бюст Республики и портрет бывшего президента Армана Фальера, висящий здесь с незапамятных времен, а в углу к стене прислонено знамя Гимнастического общества, хранящееся в клеенчатом чехле. Должно быть, как раз сейчас Мадам объявляет отметки за неделю, а потом все хором еще раз прорепетируют кантату, которая входит в торжественную часть праздника при распределении наград, но когда еще оно будет. Ох, когда-то еще оно будет в этом печальном месяце марте. Но вот она ясно различает навязшую в зубах мелодию "Большие надежды", которую запевает сама Мадам, страшно оскалив тонкогубый рот и с таким яростным взмахом головы, что гребень, поддерживающий пучок, сползает на шею...

Надейтесь!.. Надейтесь сильнее!

Еще трое суток, - сказал им Колумб, - и я новый мир вам открою!

А сам все смотрел на небесный свод

Под дымкою голубою...

Сквозь мутные стекла Мушетта с трудом различает склоненные попарно, по трое над партитурой головки своих соучениц, зато на фоне окрашенной эмалевой краской стены четко вырисовывается длинный силуэт Мадам, взгромоздившейся на помост. Тощая длань, следуя ритму кантаты, то взмывает к небесам, то опускается долу, а то, протянутая угрожающе-властно, застывает на весу, и голоса медленно стихают, словно бы стелятся у ног укротительницы, как смирившийся хищник.

По уверению учительницы, Мушетта не имеет "ни малейших способностей к пению". Неправда это, Мушетта просто ненавидит пенье. Как, впрочем, и ко всякой музыке питает дикую, необъяснимую ненависть. Стоит только длинным изуродованным подагрой пальцам Мадам коснуться клавиш уныло ноющей фисгармонии, как сразу что-то так мучительно сжимается в полудетской груди Мушетты, что даже слезы на глазах выступают. Какие слезы? Скорее всего слезы стыда. Каждая нота подобна слову, больно ранящему самую ее душу, как те грязные слова, которые вполголоса бросают ей вслед мальчишки, а она притворяется, что не слышит, но порою

носит их с собой до самого вечера, как будто они присохли к ее коже.

Как-то она попыталась объяснить Мадам тайну этого неодолимого отвращения, но, бледнея от гнева, смогла выдавить из себя всего несколько нелепых, ничего не объясняющих фраз, а в каждой попадалось слово "противно". "Мне музыка противна". "Вы просто дикарка, настоящая маленькая дикарка, удрученно твердила Мадам. - Но ведь и у дикарей есть музыка! Конечно, своя, варварская, но все-таки музыка! Всегда и повсюду музыка предшествовала науке". Тем не менее учительница не отступала, пытаясь обучить ее сольфеджио, понапрасну тратила уйму времени, буквально голову теряла. А все потому, что Мушетта. которая упрямо отказывалась неизвестно по какой причине "давать грудной звук" и еще усиливала свой ужасающий Пикардийский акцент, Мушетта, по утверждению Мадам, обладала прелестным голосом, скорее даже голоском, до того невесомо хрупким, что, казалось, вот-вот он переломится пополам, прервется, а он не прерывался. Когда же Мушетта, на горе свое, достигла четырнадцати лет и тем самым стала "старейшиной" школы, она тоже начала "давать грудной звук", если только вообще пела.

Обычно она довольствовалась тем, что просто беззвучно открывала рот в надежде обмануть недреманное ухо Мадам. Случалось, что Мадам в ярости скатывалась с помоста, тащила бунтовщицу к фисгармонии и, нажимая ладонями на затылок Мушетты, пригибали ее голову к самым клавишам.

Иной раз Мушетта упорствовала. Иной раз просила пощады, кричала, что сейчас попробует. Тогда учительница усаживалась на табурет перед фисгармонией, извлекала из адского этого инструмента не то жалобу, не то мычание, и над этими унылыми звуками вдруг возносился умопомрачительно чистый, чудом обретенный голос, подобный крохотной лодчонке на гребне пенного вала.

Поначалу Мушетта не узнавала собственного голоса: не до того ей было, она зорко всматривалась в лица подруг, ловила взгляды, кривые улыбки зависти, которые по простоте душевной считала пренебрежительными. Потом, словно бы из самых недр непроницаемого, колдовского мрака она вдруг замечала, что поет. Тщетны были все усилия разбить хрустальную струйку, под шумок вновь запеть горлом, усилить Пикардийский акцент. Свирепый взгляд Мадам всякий раз

призывал ее к порядку, как и рев внезапно обезумевшей фисгармонии. Несколько мгновений Мушетта изнемогала в неравной борьбе, такой жестокой борьбе, что никто и представить себе этого не мог. И, наконец, невольно, даже против ее желания, фальшивая нота вырывалась из худенькой груди, где теснились рыдания, и сразу становилось легче. Будь что будет! Со всех сторон раздавался смех, и сразу же лицо Мушетты пряталось под маской тупости,- так научилась она скрывать свои маленькие радости.

Сейчас Мадам небось уже заметила ее отсутствие, ну и пускай! Через минуту Мушетту ждет самое большое ее удовольствие, такое же жалкое и дикарское, как она сама, удовольствие сродни ей самой. Через минуту дверь, вырисовывающаяся черным прямоугольником на фоне стены, вечно закрытая, распахнется и извергнет из себя на дорогу с единым пронзительным визгом наконец-то получивших свободу девочек, глухих к последним призывам Мадам, к бесполезному теперь хлопанью в ладоши. И вот, притаившись за изгородью, удерживая дыхание, чувствуя, как в сердце нарастает сладостный страх, Мушетта из своего укрытия будет исподтишка следить за щебечущей стайкой, хотя лиц уже не разглядеть

из-за сгущающихся сумерек, и только голоса раздаются во мраке, теперь уж различаешь каждый не по знакомому, а по новому их звучанию.

Даже привычка не притупляет маленькие радости Мушетты, не притупила и эту - напротив, с каждым разом становится все интереснее. Открыла она для себя этот секрет, впрочем, совсем случайно, как случайно в темных прогалинах по колеям обнаруживает сотни чудесных вещей, которых никто не видит и которые валяются там годами.

В иные дни, в ее плохие дни (так по крайней мере называет их Мадам), как только зазвонят к последней перемене, которую полагается проводить в школьном дворике, скупо освещенном единственным газовым рожком, ее охватывает непреодолимое искушение перелезть через изгородь и бежать в темноте куда глаза глядят. Раньше она неслась по Обенской дороге, даже не отваживаясь оглянуться, сопровождаемая грозным стуком собственных башмаков с ушками, и останавливалась перевести дух только там, где ответвляется дорога на Сен-Вааст. Но в один прекрасный день, когда Мадам пришла вдруг фантазия перенести урок сольфеджио на завтра, девочки гурьбой вывалились из школы

одновременно с Мушеттой и направились в ту же сторону. Пришлось тогда быстренько вскарабкаться на откос, ползти на животе по траве. В великому ее удивлению, задохнувшиеся от бега девчонки привычно остановились у первого поворота поболтать. И нередко случалось даже, что когда уже все девочки расходились по домам, две какие-нибудь подружки ненадолго задерживались, поверяя друг другу секреты. Иногда они прислонялись к поросшему травой откосу. Мушетте стоило только руку протянуть, и она могла бы потрогать их сбившиеся на сторону пучочки, подвязанные засаленной ленточкой.

Самыми сладостными были именно эти последние минуты. Уже разбредаются по бесчисленным тропкам их лесного края через пастбища, через ручьи маленькие группки ее соучениц. Только там подальше, на дороге, еще шепчется о чем-то парочка неразлучных, а тем временем не видимая никому наблюдательница с силой прижимает оба кулака к губам, чтобы не чихнуть часом, потому что от сырой травы насквозь промокли чулки.

Нынче вечером школьницы пронеслись мимо беспорядочной стайкой, скрылись из виду все вместе, и сомкнувшуюся за ними тишину нару-

шал лишь еле уловимый шорох дождевых капель в опавшей листве.

Не помня себя от злости, Мушетта швырнула вслед припоздавшей парочке целую пригоршню грязи, но комок бесшумно шлепнулся в колею. Девочки даже не оглянулись. Зря старалась! Где-то у Линьера еще слышен нестройный гул голосов, но вскоре он переходит в неясное бормотание, временами ему отвечает удар молота по наковальне, таким же чистым, таким же четким звуком, как тот, что по весне рвется из серебряного горлышка жабы.

Опять Мадам позабыла потушить на школьном дворике газовый рожок, рожок устарелой системы, где язычок пламени похож на желтую бабочку с голубым сердечком. Даже здесь слышно, как на ветру огонь плюется искрами, присвистывает, но вот он снова взмывает вверх, и в отблесках пламени пляшут по мертвенно-бесцветному цементу тени красных, крашеных столбов и уродливой плоской крыши. Мушетта глаз отвести не может. Ей чудится, будто она уже все эта видела давным-давно, сотни раз видела во сне и что нынче этот зловещий уголок кого-то поджидает. Придет ли он? Придет ли нынче вечером?.. Но на пороге кухни вдруг появляется

Мадам и, крупно шагая, подходит к фонарю и гасит его. И все исчезает разом, только огромный тополь еле-еле различимый на фоне неба, шепчет что-то, словно ручеек.

Мушетта вовсе и не собирается спускаться с откоса. Она проскальзывает под изгородь, оставив на шипе колючей проволоки кусок шерстяной косынки, и идет прямо пастбищем, по его мягкому склону она доберется до Манервильского леса. Впрочем, никакой это не лес, а так себе, просто молодое мелколесье площадью в несколько гектаров, почва здесь скудная, песчаная, и полно худосочных кроликов величиной не больше крысы. Их поселок Сен-Венан примостился у противоположной опушки, крошечный поселок, всего несколько очагов, последний огрызок некогда огромного угодья, раздробленного на части десять лет назад евреем - перекупщиком земельных участков, прибывшим с Арден. Домик Мушетты притулился в стороне, у самой кромки стоячего болота, забился в чащобу. Саманные стены потрескались от мороза снизу доверху, потолочные балки, уворованные где ни попадя, вот-вот рухнут. Придет холодная пора, отец заткнет дыры пучками хвороста и на том успокоится.

Когда Мушетта добралась до леса, ветер задул еще сильнее, дождь налетал короткими порывами, пригибая к земле покряхтывавший сухостой. Стало так темно, что даже не видать, куда ступаешь. Дождинки стучат, будто градины.

Мушетта храбро задирает юбчонку на голову и пускается бежать изо всех сил. На ее беду, земля, изрытая вдоль и поперек кроличьими норками, оседает при каждом неосторожном шаге, а когда забираешься в заросли, где переплетенная толстенными корнями почва тверже, по лицу злобно хлещут мокрые ветки, гибкие, как лозина. Одной веткой сорвало с головы косынку. Мушетта кидается за ней, спотыкается о пень и падает со всего размаху. Проклятая косынка! Хоть бы новая, так нет, совсем не новая! Но она переходит от одного к другому, смотря кому понадобится. Даже отец иногда, когда у него уж слишком разболятся зубы, обматывает этой самой косынкой свою физиономию, перекошенную флюсом. Разве что только чудом может пройти незамеченной пропажа столь ценной вещи, особенно если каждый привык видеть ее на определенном гвоздике. Боже ты мой, какая же ее ждет порка, даже сейчас заранее горит спина!

Трескотня дождевых капель возобновляется

с новой силой, и теперь к ней примешивается идущее отовсюду пришептывание насыщенной влагой земли, короткое чмоканье срывающихся в колею комков грязи, и иногда вдруг под невидимым отсюда камнем забурлит вода, пробивая себе путь, словно прорыдает на кристально чистой ноте. Уже отчаявшись, Мушетта кружит наугад по чащобе. Потом, пригнув голову, бежит прямо напролом. Промокшая юбка липнет к коленам, и при каждом шаге приходится обеими руками придерживать за ушки отяжелевшие башмаки. Ух, черт! Только она собиралась перепрыгнуть через лужу грязи, - а поди рассчитай в темноте, широкая она или нет, - как вдруг под ее ногами разверзается земля и с плотоядным чавканьем заглатывает правый башмак. Мушетта скатывается в ров, делает наудачу несколько шагов, выпрямляется, еще оглушенная падением, отыскать дорогу она уже не в силах, ревет от злости, прыгая на одной ноге и поддерживая правую, босую, рукой.

Выбившись из сил, она опускается прямо на землю, словно захмелев от холода и усталости. Но хуже всего, что после бессмысленных блужданий и поворотов она уже не надеется выбраться на дорогу. Напрасно она закрывает глаза, с за-

крытыми глазами лучше слышно. Уже давно кузнечный молот не стучит о наковальню, да к тому же буря так разыгралась, что деревья дрожат, точно туго натянутые струны. Разве что, да и то с трудом, прорвется далекий лай собаки, но его тут же подхватит и унесет ветер. Дорога, на которую она выбралась, просто-напросто одна из бесчисленных проторенных тропок, которые каждую зиму прокладывают деревенские старухи, отправляющиеся в лес за валежником; на обратном пути они волочат по земле вязанки хвороста, огромные корзины с сушняком.

Небось дома уж давно отужинали. Хочешь не хочешь, а придется ложиться на голодный желудок. Хоть бы отец нынче вернулся пьяным! К сожалению, рассчитывать сегодня на это не очень-то приходится. Свеклу уже свезли на той неделе, работы нету, в кабачке в кредит больше не отпускают, потому что мадам Изамбар, новая кабатчица, не слишком-то мирволит пьяницам. Правда, есть в заначке, за поленницей, бутылка можжевеловой. Да только мать, которая теперь почти ничего не ест из-за вечной боли в груди, не прочь иногда выпить стаканчик, разбавив ее наполовину водой. Обычно это проходит незамеченным, так как бывший контрабандист

употребляет свою собственную продукцию только после возвращения из кабачка, когда у него, по собственному выражению, "подагра все тело гложет", так что, видать, ему конец приходит. Но нынче вечером...

Разумеется, мысли Мушетты не текут столь стройно и логично. Расплывчатые, они с легкостью перескакивают с одного на другое. Если бы бедняки могли воссоздать из своих горестей цельную картину, они бы совсем пали духом. Но беды - просто-напросто сцепление бед, череда несчастных случайностей. Бедняк подобен слепцу, который десятки раз пересчитывает дрожащими пальцами монетки, не умея определить их достоинства ни по орлу, ни по решке. Так вот и беднякам хватает самой мысли о бедности. Их горе лица не имеет.

Теперь, когда Мушетта уже не борется, ее охватывает инстинктивная, бессознательная покорность, та, какой сильны животные. Никогда в жизни она не болела, и холод, сковывающий все тело, даже не причиняет мук, скорее уж от него как-то неуютно, как, впрочем, и от многого другого. Но это ничем не грозит, не будит мыслей о смерти. Да, впрочем, и о самой смерти Мушетта думает как о некоем чрезвычайном событии,

как о чем-то маловероятном, о чем глупо заранее думать, как, скажем, об огромном выигрыше в лотерее. В ее годы умереть или сделаться барыней - просто выдумка, химера...

Она осторожно втискивается меж двух сросшихся стволов большой сосны, ее верно забыли дровосеки. Ложем ей служит толстый слой сосновых иголок, почти сухих, так как дождевая вода легко просачивается сквозь них. Она снимает свой единственный башмак, стягивает шерстяные чулки, выжимает их. Кажется, что ветер дует теперь отовсюду разом, ураганом врывается в самую чащобу, исхлестанную свирепым ливнем, и вздымает вверх к небу среди вздыбленных ветвей, словно столб дыма, жалкенькую стайку опавшей листвы, но ее тут же прибивает к земле водяным смерчем.

Услышав шум шагов, она не спеша приоткрыла глаза и сразу же разглядела его: он направлялся к ней, осторожно ступая, будто ночной зверь. Длинный силуэт, совсем как только что в школе силуэт Мадам, кажется черным на фоне более светлого неба. Широченные охотничьи штаны, натянутые поверх вельветовых брюк, свисали, как подол юбки. Мушетта сразу же узнала его по запаху табака, контрабандного бельгийского

табака с фиалковой отдушкой, иногда он давал этот табак ее отцу в виде спресованного большого брикета огненного цвета и такого твердого, что приходилось рубить его секачом.

- Смотрите-ка, да это ты! - проговорил он.

Он чуть было не наступил на нее своими огромными сапожищами, от которых идет удушливый запах сала и перегноя. И тотчас же в лицо ей ударяет луч электрического фонарика.

- Слишком грязно, чтобы силок ставить, пойду-ка домой.

Мушетта с трудом подымается, не выпуская из рук мокрых чулок и единственного своего башмака. Все ее тщедушное тельце бьет дрожь.

- Эх, дьявольщина! Да ты, красотка, с холоду, того гляди, помрешь... Надо же выдумать - в такую непогодь в низину забраться... Да сюда через пять минут вода дойдет, разрази меня гром. А куда ты, бедолага, второй башмак подевала?

- По...по...потерялся, мосье Арсен.

- От уж дуреха!.. Из школы, что ли, возвращаешься? С дороги сбилась, да? С подружками шла? Видать, мозги у тебя куриные, надо прямо сказать.

Он снова направляет на нее луч электрического фонарика. Тщетно Мушетта пытается натянуть

мокрые чулки. Она в самом центре неподвижного светового пятна, одна нога у нее вытянута, другая поджата; ее словно бы сковало этим светом, она просто не в силах подняться со своего ложа, хотя ей все-таки удалось сесть.

- Вернешься к отцу с одним башмаком, береги зад! Помнишь хоть, где ты его, разиня, посеяла?

Мушетта вскидывает голову, стараясь разглядеть в темноте склоненное над ней лицо. Присутствие этого парня ничуть ее не тревожит, ведь не встревожилась бы она, очутись рядом с ней собака или кошка, но, прежде чем эта мысль успевает сложиться в ее голове, ухо уже улавливает в знакомом голосе какую-то почти неприметную нотку, трещинку, что ли. И словно ее поясницу обжег удар бича - она вскакивает на ноги.

- Чего это на тебя нашло? Вдруг ожила! На осиное гнездо, что ли, села? Ну говори, черт тебя раздери, где башмак потеряла?

Голос становится жестче, повелительней, и Мушетта понимает, что мешкать нельзя, а то, того гляди, заработаешь парочку хороших подзатыльников. Ну и ладно! Ни угрозами, ни подзатыльниками не вырвать у нее ни слова, пока не отпустит нервное напряжение. Она прекрасно

может, даже глазом не моргнув, выслушивать получасовые нотации Мадам, в сущности не слыша их, и вдруг какой-нибудь жест, какое-нибудь слово, и она уже чувствует, что на нее накатывает то, что учительница не без удовольствия определяет словом "припадок", "ваш припадок". "Я, очевидно, оскорбила мадемуазель Мушетту!" И подруги хохочут. Но отец выражается куда категоричнее. "Не строй свиной хари!"

Она делает несколько неверных шагов, отступает назад, прислоняется к стволу сосны, той, что потолще. Тыльной стороной левой руки утирает лоб, щеки. Лента, которую она вплетает в свою недлинную косичку, так и осталась висеть на колючках. С рассыпавшихся прядей, которые она каждое воскресенье обильно мажет маслом, стекает вода.

Мосье Арсен снова глядит на нее, целую долгую минуту глядит. Глаз его она не видит, но слышит его дыхание.

- А ну пойдем, хватит болтать! - говорит он. - Вода подымается.

Он идет впереди, она за ним. От коротких вспышек фонарика еще более густым, еще более предательским кажется ночной мрак. Мушетта натыкается на пни, царапает себе ноги сосно-

выми иголками. Ни за какие блага мира она не попросила бы мосье Арсена идти помедленнее, потому что в самых затаенных глубинах ее существа живет инстинкт физической покорности, как у всякой женщины из простонародья, которая может здорово облаять пьянчугу мужа, но послушно семенит с ним рядом, приноравливая свой шаг к его. Платье Мушетты превратилось в ледяной саван. А ей на это наплевать, она уже не страдает от холода, уже не чувствует ни своих ног, ни живота, только там, в груди, поднимается боль, там как-то пусто, неловко, тошнотно. Взгляд ее прикован к ритмичному колыханию плеч ее спутника... Стоп!

Слово это с запозданием доходит до ее ушей. Она делает шаг вперед, падает на колени, поднимается. Они стоят посреди незнакомой ей поляны. Дождь и не думает униматься, ветер крепчает. Мертвенно-белесое небо изливается им прямо на головы, грохоча, как водопад.

- Иди сюда!

Она снова делает несколько шагов, но так непомерно тяжка ее усталость, что, взбираясь на отлогий откос, где расползаются босые ноги, она невольно, не подумав, хватает за руку своего провожатого.

- А теперь нагибайся!

Он первым входит в лачугу и резким движением плеч сбрасывает сумку, которая с мягким стуком падает наземь. Сумка набита кроликами, еще теплыми, со слипшейся от дождя и крови шерсткой.

- Об заклад бьюсь, что ты даже не слыхивала о лачуге Зидаса, - говорит он. - Чем безобидней с виду тайник, тем он надежнее. Ну скажи сама, кто же на такую грязную развалюху подумает?.. В прошлом году, еще до начала охотничьего сезона, наехали сюда к нам из Булони с сетями и столько куропаток нагребли, что ихнему грузовичку пришлось два рейса делать. Только вот на обратном пути с ними авария на Бланжийской дороге приключилась. Стражники пронюхали. Я сам сюда приволок дичи больше, чем на пять тысяч франков. Заметь, что жандармы во всех направлениях прочесали долину, нашли даже прошлогодние тайники; правда, там одна только прелая солома была, но даже в голову им не пришло обыскать лачугу, а если бы и обыскали, ничего, видишь ли, и не обнаружили бы, кроме кучи хвороста да старой куртки. Потому что...

Мушетта без сил повалилась в углу, прямо на землю. Ей мешает сосредоточиться этот поток

слов, но все ее чувства начеку, подстерегают грядущую опасность, какую, она еще и сама не знает. Потому что раз пробудившееся недоверие так легко не усыпишь. Глазам больно, и она опускает веки. Со стороны кажется - спит.

Однако ни одно движение ее хозяина от нее не ускользает. Длинными тонкими пальцами, хотя и грязными, а все-таки куда белее, чем у прочих деревенских, он, как пес, разгребает землю, потревожив слой сухих листьев, разлетевшихся по всей лачуге. Открывается люк, прикрытый простой крышкой от ящика с веревочной петлей. Он ныряет в отверстие и тут же снова появляется.

- А ну-ка глотни! - командует он.

Этот повелительно-грубый тон успокаивает Мушетту, пожалуй, даже больше, чем любое дружеское слово. Впрочем, и защищаться-то у нее нет сил, разве что молчанием, разве что этой вот неподвижностью. Только сейчас она начинает соображать, что ее блуждание в чащобе под проливным дождем длилось долго, очень долго и что сил у нее совсем не осталось. Судорожно зажимает она зубами оклеенное сукном горлышко солдатской фляжки, откуда разит прокисшим вином.

Спиртное, словно струя расплавленного свин-

ца, заполняет всю грудную клетку. Бог ты мой! Ей кажется, будто усталость переливается по всему телу, мурашками покалывает каждый наболевший суставчик.

В глиняную, кое-как сложенную печь мосье Арсен подбрасывает связку хвороста. И так же бросает через плечо свое старое кожаное пальто и шерстяную рубаху. Языки пламени, пробивающиеся сквозь клубы дыма, золотят обнаженный, словно из меди отлитый торс.

- Погрейся-ка, - советует он. - Я-то знаю, почему я сюда приперся, ясно? Пережду непогоду, так-то оно лучше. Это, девочка, циклон, запомни "циклоном" зовется. Лет двадцать назад я уже видел такое, а может, и похлеще. В ту пору я еще и в школу не ходил - совсем мальцом был. Сначала на море началось, в открытом море, может, за тысячи и тысячи километров отсюда, потом мимо англичан прошло и к нам.

В Булони небо до того почернело, что все жители на улицу высыпали. Сначала было тихо-тихо, потом море на северо-западе - само море, поняла? закипело. Да, да, закипело, ну вроде как вода в кастрюле закипает. Пока еще ничего слышно не было. Да и вообще ничего особенного мы не услышали. Только вдруг видим, что все таможен-

ные здания паром затянуло, - не дымом, ясно? - а именно паром. Вроде бы и сам воздух тоже закипел. И вот, представь, крыша на доке подымается, медленно-медленно так. Издали подумаешь, что это зверь какой-то все раздувается, ну, дракон, что ли. А потом эта чертова крыша забилась, будто парус, и как взлетит в небо со всеми своими балками, бах, тарарах! Мы, понимаешь, детвора то есть, стоим, глазеем. А когда циклон над городом прошел, так даже земля затряслась. Но в таких случаях сильного ветра не бывает, он весь воздух всасывает, а мы в безвоздушном пространстве остаемся. И даже, говорю, ничего не слышно, только кирпичи да черепицы как начнут кругом трещать, вроде шутихи кто запускает. Все паром заволокло: и город и море.

Опыт не обманывает Мушетту - красавец Арсен пьян. Только пьян совсем по-другому, чем ее отец. Впрочем, никто еще никогда не видел, чтобы он брел по дороге и шатался или держался стенки, как раненый зверь, когда тот пробирается в свою берлогу. "Так только шуты разные да паяцы себя ведут, презрительно заявлял он, - выпьют чуток и уже воображают, будто пьяным-пьяны". При случае он охотно и с гордостью рассказывает, что не здешний, что родился он в Булони, мать-бре-

тонка его родила, мол, случайно от неизвестного папаши. Обычно-то он, выпив, держит язык за зубами. Или же говорит, говорит... вот как нынче вечером, ровным тихим голосом, почти шепотом, в глазах загорается странный огонек, и когда он переходит к морским рассказам - он служил во флоте, - упаси боже даже про себя усмехнуться. Тогда он сразу вскакивает и идет на обидчика враскачку, по-матросски, верный признак, что на него нашло, а здешние побаиваются этих приступов ярости, потому что злится он иначе, чем они, по-непонятному злится...

- Слушай, - говорит Арсен, - вот он... Идет наискосок по равнине. Через пять минут вовсю разбушуется. Приложи-ка ухо к земле, услышишь, как он несется. Ей-богу, такая погодка кровь бодрит, погода для настоящих мужчин.

Он берет с полу флягу, и губы его уже заранее складываются в лакомую гримаску, отчего он делается похож на маленького мальчугана.

- Как бы вы не напились, мосье Арсен, - спокойно произносит Мушетта.

- Нынче вечером мне в самый раз напиться, - отвечает он, - по самую что ни на есть завязочку, понятно? У меня неприятности.

Протянув руку, он проводит длинными паль-

цами по плечу Мушетты, неуклюже-ласково касается ее спины, бока.

- Высохла - ну вот и ладно, - говорит он. - С таким ветром пустяка достаточно, чтобы лачуга сразу со всех четырех сторон занялась и сгорели бы мы здесь с тобой, как крысы. Да было бы тебе известно, что у тебя под задом все мои патроны припрятаны. Вот так-то, красотка, взлетишь прямо к небесам!

Он принужденно смеется. Мушетте надо бы ответить ему хоть что-нибудь, просто из вежливости ответить, но инстинкт более властный, чем воля, приказывает ей молчать. К тому же алкоголь мало-помалу испарился, веки тяжелеют, ей хочется прилечь, заснуть.

- А ты не из разговорчивых, - замечает он, - впрочем, для девицы это, напротив, даже приличнее.

Из кармана куртки, висящей на гвоздике, он вытаскивает огромные серебряные часы-луковицу.

- Когда из школы ушла?

- Не знаю точно, - на всякий случай осторожно отвечает Мушетта. Может, в половине седьмого. Я раньше всех убежала.

- Одна, что ли?

- Ясное дело.

- Никто тебя не видел?

- Откуда я знаю? А почему вы меня спрашиваете, мосье Арсен?

Арсен морщит нос, ну чисто кошка. Мушетта пожимает плечами, еле-еле, так, для себя самой. Конечно, вечные побои не окончательно поработили ее сердечко, зато научили, что к гневным вспышкам мужчины следует относиться настороженно, со спокойным и глубоко запрятанным презрением.

- Я через изгородь перелезла, мосье Арсен.

- Хотела пастбищем пройти?

- Да.

- Так вот что, запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу. Через пастбища ты не шла. А шла по Линьерской дороге, как и полагается при непогоде. А может, даже в Линьер заглянула, скажем, шарики себе купить.

- Шарики? А на какие такие гроши? У меня же ничего нет, мосье Арсен.

- Вот, держи, тут несколько су. Скажешь, что нашла на дороге. Значит, добралась до поселка и остановилась у болота, потому что погода сильно плохая.

- Ладно, мосье Арсен, ладно, поняла.

Она сует монеты в карман передника, греет их, сжимает в кулаке. Никогда еще не было у нее

такого богатства. Деньги приятно трогать, как живую человеческую кожу.

Мосье Арсен продолжает:

- Значит, остановилась у болота. И видела, как я вышел из кабачка Дюплуи. Дюплуи, он свой человек. Я тебе сказал, что иду из Басомпьера, что я силки ходил проверять.

- Силки? И жандармам тоже про силки говорить?

- Нет, вы только посмотрите, какая она у нас хитрая!

Он допивает бутылку, полощет рот последним глотком и сквозь зубы сплевывает на еще багровую золу.

- Пусть лучше тебя обвинят в том, что ты спер яйцо на Бражелонском базаре, чем быка на Сен-Ваастской ярмарке.

Мушетта смотрит, как пляшут на раскаленных головешках язычки горящего спирта, совсем как голубенькие мушки. На ее худенькой мордашке застыло теперь выражение покорности и лукавства. Сотни раз ей приходилось врать таможенникам! Раньше отец баловался контрабандой. Тогда они жили далеко отсюда, ближе к Верблоoку - у самого края болота, и такое гибельное было это место, что ночью можно было

там пробраться только за фландрским ученым псом, умевшим чуять под застывшей коркой окна, куда вершок за вершком засасывало человека в течение каких-нибудь десяти минут. В то время она была еще совсем-совсем маленькая. Теперь бы она, конечно, врала куда складнее. Каждое произнесенное мосье Арсеном слово уже врезалось ей в память, заняло положенное ему место. А сам мосье Арсен шагает по хижине взад и вперед. Плевать ему, что здесь теснота: есть в нем какая-то свободная непринужденность, как в хищниках, разгуливающих по клетке, она видела их в зверинце Беллока сквозь разошедшиеся доски ограды.

- Ты не такая девочка, как другие, ты славная девочка, - вдруг произносит он. - Пойду поищу твой башмак. Может, нам еще куда придется идти.

На мгновение он останавливается на пороге, и сразу же ливень обрушивается на его голую спину, слабо освещенную последними отблесками меркнущего очага.

Она остается одна. Одежда высохла, в висках уже не стучит, и даже голод, кажется ей, лишь продлевает это ощущение физического уюта, сладостной полудремоты. Все ее чувства, кроме настороженного слуха, как бы спят. Ей нет

надобности вслушиваться, она и так различает среди сотни звуков, доносящихся снаружи, последние завывания ветра на вершинах холмов, перестук дождевых капель, а временами мягкий треск сломанной ураганом сухой ветки, которая, прежде чем навеки увязнуть в грязи, придавит по дороге молоденький кустик. Вдруг пальцы ее, рассеянно пересыпавшие еще теплую золу, замирают, судорожно сжимаются в кулак, и она машинально становится на колени. Только что раздались два выстрела: сначала один, через несколько минут другой, четкие, хоть и приглушенные расстоянием.

Машинально она вскидывает глаза - нет, карабин мосье Арсена по-прежнему висит на гвозде. Впрочем, мосье Арсен так далеко и не мог уйти. Ясно, стрелял какой-нибудь браконьер, укрывавшийся в своем тайнике, потом решил идти домой и разрядил ружье. Но оба выстрела прозвучали через долгий, даже странно долгий промежуток, - так что вряд ли это охотник, он бы дуплетом стрелял...

И снова Мушетта вспоминает те уже далекие ночи, ночи раннего ее детства, в глинобитной хибарке, приютившейся на самом краю неоглядной равнины. Сколько раз какой-нибудь

контрабандист, отыскивая чуть ли не на ощупь дорогу, пулял вот так в воздух; отчаянный призыв к дружкам, тоже блуждавшим в потемках и пересвистывавшимся, а пронзительная трель их свистков напоминала крики болотных птиц. Точно такие же одиночные выстрелы, не будившие даже эха, доносились откуда-то из безвестной дали; и тяжелый, вязкий воздух, пропитанный жирными испарениями, подымавшимися с торфяников, послушно, подобно глубоким водам, подчинялся звуку выстрела и начинал вибрировать. Дело в том, что Мушетта редко слышала самый выстрел: ее будило неожиданное дребезжание оконных стекол, и она вскакивала со своего тощего, набитого тряпками тюфяка.

Мосье Арсен вернулся почти сразу же. И бросил на пол перед Мушеттой свою находку - ее насквозь мокрый башмак.

- Я-то боялся, как бы его течением вниз не утащило. Один бог знает, чего только река не навыбрасывала. Даже дохлого кролика, ему хребет о камень переломило. А уж крутит, крутит - еле на ногах удерживаешься. Шипит, вроде пенится - ну прямо тебе пиво...

Она чувствует на себе его взгляд, тяжелый взгляд.

- Слыхала?

Еще выстрел. Всего один. Затаив дыхание, они ждут второго, но тщетно.

- У, сволочь! - цедит он сквозь зубы.

Потом подымает с полу пустую бутылку, обнюхивает ее, яростно шваркает о стену, и она разлетается вдребезги.

- Будь у меня еще пол-литра можжевеловой, я бы опять туда пошел. Ей-ей, пошел бы.

И снова его взгляд встречается с глазами Мушетты, недоверчивый, грозный взгляд. Девочка выдерживает его, не опуская век.

- А хитра же ты! - наконец произносит он. - Словно куропатка! Сейчас мы с тобой золу наружу повыкидываем. И здесь все в порядок приведем. Только сначала...

Он присаживается на корточки перед очагом, подносит к глазам левую руку, внимательно приглядывается к ней, что-то насвистывая.

- Подойди-ка сюда, девочка. Достань из кармана кожанки электрический фонарь и постарайся направить его прямо вот сюда, только смотри не трясись, ты же у нас из настоящей контрабандистской семьи. Если будет дурно, так глаза закрой.

На левой кисти видна ранка странных очер-

таний, дождь так основательно промыл ее, что обнажилось живое мясо, а вокруг него синеватые кровоподтеки. Пальцы распухли.

- Укус, - бормочет он, - поганый укус.

Правой рукой он осторожно разгребает головешки, берет еще не совсем потухшую, дует на нее.

- А теперь свети мне.

Он туго перетягивает запястье тряпкой, закручивает ее изо всех сил. Пальцы сейчас стали совсем лиловые, и рана вырисовывается с какой-то удивительной четкостью. Края рваные, и все-таки явно проступают следы зубов. Не лисьих, не барсучьих, это уж ясно!

Поплевав на пальцы, он хватает багровую головешку. Кончик ее как раз по размеру раны. Не торопясь, он осторожно прикладывает головешку к ране и снова дует на нее. Зловеще потрескивает живое мясо. Но Мушетта глядит не на головешку. На стену падает круг света и выхватывает из мрака лицо, с которого она не спускает глаз. Оно, это лицо, потеряло сейчас свое залихватское выражение, оно застывшее, как бы пытается воссоздать некое таинственное видение, но это не вызов ему, а скорее желание собраться с мыслями. На какой-то миг шея, почти такая же длинная и гиб-

кая, как у женщины, с таким же шелковистым отливом, вздувается, и на ней проступает толстая темная жила. Но пусть дрожат губы, с них не срывается ни стона. Бог ты мой! Уже давным-давно дочка бывшего контрабандиста живет как чужая среди обывателей постылого поселка, среди этих черных и мохнатых, как козлы, людей, до срока обложенных нездоровым жиром, отравленных чуть не до умопомрачения кофе, - тем самым кофе, который они сосут круглый год в вонючих кабачках, так что даже кожа у них делается кофейного цвета.

Презрение - чувство, почти ей неведомое, потому что по наивности она считает, что оно не про нее; думает она об этом так же редко и мало, как, скажем, о материальных благах жизни, - все это для богачей, для сильных мира сего. Как бы она удивилась, если бы кто-нибудь сказал ей, что она презирает Мадам, сама-то она думает, что только восстает против того порядка, воплощением коего является их наставница. "У вас испорченная натура!" кричит порой Мадам. Она и не спорит. Ничуть этого не стыдится, как не стыдится рваной своей одежонки, так как давно уже все ее кокетство состоит в том, чтобы с дикарской бессознательностью пренебрегать высокомерными

осуждениями подружек и насмешками мальчиков. Порой, когда мать воскресными утрами посылает ее в поселок купить про запас на целую неделю сала, она нарочно шлепает по грязным колеям и появляется на главной площади, когда народ расходится с мессы, замарашка замарашкой... И вот, вдруг...

Он в последний раз дует на головешку, потом бросает ее на пол. Их взгляды встречаются. Так ей хочется вложить в свой взгляд некое чувство, но она ощущает лишь его жар, совсем так, как жарко обжигает нёбо, когда хлебнешь молодого, еще не перебродившего вина. И этому жару она не умеет дать точного имени. Да и впрямь, что здесь общего с тем, что люди зовут любовью, с теми хорошо ей известными жестами? Она может только недрогнувшей рукой направлять луч фонарика на рану.

- Открой дверь, - командует он. - Пойду выброшу золу. Так или иначе, нас с тобой сегодня здесь не было, усекла? Никому не говори, даже отцу. Я впереди пойду. А ты за мной.

Слишком просторные башмаки из грубой кожи до крови натирают ноги, но ей важно только одно - как бы не потерять из виду своего спутника. Впрочем, ночь уже не такая темная. Так как они

все время сворачивают с дороги и идут для быстроты прямиком через заросли, Мушетта никак не может определить, где они находятся. А вскоре и не пытается определить. Поэтому она с изумлением видит, что они вышли на шоссе прямо к кабачку мосье Дюплуи. Ставни домика закрыты, в щели их не просачивается даже лучик света. Должно быть, действительно очень поздно.

Мосье Арсен входит во двор, стучит в низенькую дверку, и она бесшумно распахивается. Он с кем-то говорит, но так быстро, что слов не разобрать. Когда он снова подходит к ней, губы его морщит такая странная улыбка, что даже сердце сжимается.

- Слушай, что я тебе скажу, - начинает он, - этот тип вовсе не такой, как я считал, ну да черт с ним! И без него обойдемся. Хоть и выпил я здорово, но планчик один у меня есть. Пройдем-ка еще немного. Если ты уж очень замучилась, я тебя на закорках понесу.

Теперь он говорит с ней, как с равной. Ой, нет! Она ничуть не устала, ничуть не боится, если нужно, она всю ночь может идти, так что пусть он не беспокоится!.. Все эти фразы она произносит про себя кротким нежным голоском! Но выдавить хоть слово не способна и только хмуро кивает.

Они останавливаются перед другой хижиной, ее Мушетта знает хорошо. Зовется она "Со свиданьицем". Дровосеки по весне складывают здесь свой инструмент. Сейчас там никого. Дверь подается при первом же ударе ногой.

- Вот удачно-то получилось, что я сюда позавчера заглянул, - говорит мосье Арсен. - И дрова есть сухие и свечка. Такой разведем огонь, что только держись! Хочу, чтобы к утру побольше золы накопилось, на полную тачку, тогда я скажу, что целый день, мол, здесь просидел, в тепле.

Они присаживаются по обе стороны очага, и Мушетта не спускает глаз со своих башмаков. Размышлять для нее дело совсем непривычное, и она даже не сознает, каких усилий ей это стоит. Если ей и случалось отлететь от самой себя на крыльях мечты, то уже давно забыты те тайные тропки, по которым возвращаешься обратно. Сейчас ей просто чудится, будто все пламя жизни, всей ее жизни, сосредоточено теперь в единой точке, что гнездится в груди, в самой наболевшей точке, и мало-помалу она приобретает твердость алмаза, неистребимый его блеск. Да, да, алмаза; алмаз - это такой волшебный камень, и Мадам уверяет, что алмазы находят в черной сердцевине угольной глыбы, где они пролежали века и века.

Она не смеет взглянуть на мосье Арсена. Но еще страшнее услышать его слова. Одно-единственное слово, произнесенное в этой тиши, и она, Мушетта, разобьется, словно стекло.

- Слушай, девочка, - вдруг начинает он, - много или мало я тут тебе наболтал, видно, надо уже все до конца выложить. Да, впрочем, завтра ты и десяти шагов от дома не отойдешь, как такого наслушаешься. Я-то людей знаю. Мухи вроде не обидят, а как завидят лужу крови, так непременно им нужно туда нос совать и язык распускать. Ну и черт с ними! Учти, не каждый день приходится доверяться девушке, особенно девушке твоих лет - вернее, просто девочке. Поэтому подыми голову и смотри мне в лицо, прямо в лицо, как мужчина мужчине.

Она мужественно пытается сделать так, как он ей велит. Но всякий раз, встретившись глазами с мосье Арсеном, она невольно отводит взгляд, скользнув по его лицу, он неудержимо клонится долу. Не может она с ним управиться: ну словно капля масла, сползающая вниз по клеенке. Только с огромным трудом удается ей зацепиться взглядом за вырез его рубахи, как раз в том месте, где на смуглой коже, позолоченной огнем, чернеет родинка.

- Прямо беда, - говорит он, пожимая плечами. - Вот вы, женщины, даже самые молоденькие, и то не можете обойтись без кривляний. В конце концов делай как знаешь, хочешь - гляди на меня, хочешь - нет. Только зря ты воображаешь, будто я наобум действую. Пусть я здорово набрался, все равно голова у меня варит. Так вот, хочешь знать, почему я тебя уважаю? Уважаю с тех самых пор, как при мне твой папаша здорово тебе всыпал в тот вечер, когда была, ярмарка в Сен-Венане, помнишь? Он тебя по заду шомполом молотил, а ты ухитрилась обернуться и посмотреть ему в лицо так дерзко, что он тебе еще вдобавок пощечину залепил. А ты спокойненько уселась в уголок у окна, поправила юбчонку, и на глазах хоть бы слезинка, сухие глаза, как трут для огнива. Знаешь, как меня самого в детстве лупили, но ты, ты... ей-богу, меня даже стыд разобрал. А я-то тебя считал... считал...

Он долго ищет подходящего слова, но не находит. Лицо его внезапно становится словно каменное.

- По-моему, я человека убил, - произносит он. - Только теперь какой уж он человек, был да сплыл!

Она не шелохнулась. Только прерывисто вздох-

нула раз, другой. Словно бы зевнула. Он решил, что она не расслышала.

- Стражника Матье, - утвердительным тоном произнесла она после долгого молчания.

- Точно. А почему ты сразу о нем подумала?

- Потому что видела его нынче утром, он мимо нашего дома проходил. Отец еще заметил, что он закинул за спину скатанный дождевик. "Видать, Матье всю ночь по лесу бродить будет, - сказал отец. - Надо бы Арсену в оба глядеть..."

- Неверно он сказал. Матье уже не первую неделю здесь рыщет. Но едва он где появится, так сразу все: "Ну, на этот раз Арсену каюк. Матье его прищучит". Так вот вам, не он меня, а я его прищучил.

Последние слова он произносит даже с каким-то сожалением. Признание, видимо, облегчило его душу, лицо утратило свою каменную непреклонность, а глаза устремлены куда-то вдаль, будто стараются вызвать в памяти полузабытую картину.

- Надо думать, что это из-за чертова циклона у меня нервы так разыгрались. Я циклон заранее чувствую. Первым делом воздух вязким становится, так и липнет к коже. А тяжелый какой! Я как раз откапывал капкан рядом с загоном

Камиля, знаешь какой капкан отличный, с пружиной; я за него тридцать монет отвалил. При таком ливне ни за что нельзя поручиться. Могло вполне мой капкан к самому Сен-Ваасту унести, тем более я его цепью не закрепил. "Что ты здесь поделываешь, Арсен? - вот что он мне сказал. - Уж не хочешь ли за Селедочную лужу отправиться? Так и в колонию угодить недолго". А сказал он так потому, что я обернулся и сунул руку в карман брюк. Тут я карман взял и вывернул. А там только кисет да трубка. "Послушайте-ка, - это я ему говорю, - я же не дурак в конце концов. Если я вам зло причиню, то мне-то какая от этого польза будет! Если я вас укокошу, так это уж не Гвианой пахнет, а гильотиной. Раз вам эта игрушечка по вкусу, можете ее себе взять". Я уж давно заметил, что он все время на мой капкан косится. "Ладно", - отвечает он, так что и упрашивать его долго не пришлось. Я уже отошел от него, а он меня окликает. "Только не воображай, дружок Арсен, что ты такой малостью со мной рассчитаешься. Слишком давно ты нам спать мешаешь. Очень уж ты занесся, потому как работаешь на крупнейших воротил, разъевшихся на браконьерстве, на этих ловкачей, на чистых гангстеров и из Арраса и из Булони. Но у них таких пройдох, как ты, навалом:

один попался, на его место десяток найдется. Рано или поздно, все равно вляпаешься, если только не смоешься отсюда". - "На это не надейтесь, мосье Матье", - вот что я ему сказал.

Странный у него был какой-то вид. Тут только я смекнул, что он пьян, и он тоже пьян. Только потому я заметил, что щеки у него еще больше ввалились, а зрачки так и прыгают, и хотел бы он мне в лицо прямо посмотреть, да не может. Да что рассказывать - теперь он уже не прислужник ихний был, а просто человек, который погубить меня желает. С минуту мы так и простояли лицом к лицу и, поверь, даже ни разу не моргнули. В такие минуты я обычно-то предпочитаю уйти от греха подальше, а вот тут стоял, будто меня по ногам связали, - в ушах гудит, чувствую, как во мне злоба закипает.

Когда у меня вот так между лопатками зудеть начнет, сам знаю, что смываться пора, а не то сердце у меня разорвется, и свалюсь я без чувств. Заметь, со мной такое не раз бывало. Добрые люди зовут это черной болезнью, эпилепсией то есть. Короче, я уже шагов с десяток сделал и вдруг остановился. А тот стоит, ржет. Ну тогда я двинулся на него. К счастью, опять дождь припустил, да еще какой! Ну чисто свинец с неба валится. А на-

ходились мы с ним в молодом лесу - трехлетнем, не больше, а все-таки какая-никакая защита, все лучше, чем на открытом месте. И холод нас до костей пробирает. И пошли мы с ним рядышком в рощицу, знаешь, сосновая, неподалеку от хижины Дюпоншеля. Может, мы от этой мокроты протрезвели? Да нет, не думаю. Такие парни, как мы, даже под мухой не переходим черту, чем пьянее, тем благоразумнее. Ну а уж как переступили эту черту, будь тогда что будет!

Только ни он, ни я не желали уступать друг другу. Видела, как собаки посреди шоссе грызутся? Пройдет грузовик, они в сторону отбегут, рядышком трусят, друг на друга косятся, отойдут подальше и снова сцепятся. Вот так и мы с ним. Но когда мы вышли на сухое место, под старые сосны, я снова подумал, что со мной будет, если я дурака сваляю. А тут еще ветер прорвался с моря, даже земля у нас под ногами затряслась... "Слушай, Арсен, - это он мне говорит, а сам скосоротился весь, - раз уж такой случай представился, оставь ты лучше Луизу в покое, послушай доброго совета. Терпеть не могу, когда мне поперек дороги становятся, - это я про баб говорю". - "Странный вы все-таки стражник, да еще присягу приносили, - это я ему отвечаю. - Да разве же можно так

дразнить человека, особенно когда еще слово, другое - и будет за что его на каторгу отправить".

Тут мы с ним покатились по земле, ну словно два дикаря. Я все норовил ему шею сдавить, да мешала его толстая вельветовая куртка. Как он цапнет меня зубами за руку - хрясь! Мертвой, что называется, хваткой! Уж я его колотил головой о землю, только земля чересчур размякла, да и он меня не выпускает. Мы во время драки и не заметили, что постепенно по откосу сползаем и рухнули прямо в ров, а там воды по пояс. Болваны болванами, понятно! Выбрались оттуда, как умели, я все свою флягу щупал, ведь в ней водка была, а пробка выскочила! Вот я и испугался, что вся моя коммерция к черту полетит. Лучше уж пусть у меня в нутре хранится, - вот что я подумал... Но ведь цельный литр, черт его побери! Да и до того малость принял! Сосал, сосал, да чуть не задохнулся. Глаза на лоб полезли, мне казалось, что не глаза у меня, а два стеклянных шарика.

А он смотрит на меня, вид у него странный какой-то, сам белый, как полотно, и зубами клацает. Он еще больше, чем я, промок, я ведь на него упал. Я протянул ему флягу, и, представь, мы с ним вроде друзьями стали, на время, конечно. А циклон совсем разыгрался, даже под соснами,

более или менее в затишке, и то приходилось держаться за руки, а то ветер с ног валил. Короче, раздавили мы с ним литр, сели рядышком на пень, а над головой вроде бы неплохой навесик из ветвей, да только с него вода капала, как из водосточной трубы. А мы и не замечали. От крика у нас глотки заболели, ведь ветер твои же слова тебе назад в глотку забивал, точно кулаком по морде жахал. Тут-то Матье...

Он вдруг замолчал, поднес к горлу руку и на секунду замер, на лице его застыло такое выражение, будто он ищет чего-то в памяти, тупо и безнадежно ищет. Наконец лицо его мало-помалу просветлело, хотя с него не сошел еще страх, о чем он сам, очевидно, и не подозревал. Потому что после молчания, которое показалось Мушетте бесконечно долгим, он вдруг спокойно заговорил с видом человека, преодолевшего мгновенную слабость памяти и примирившегося с тем, что может восстановить лишь половину забытых фактов.

- Со мной такое иногда бывает. (Судорожным жестом он провел ладонями по лицу, будто отгоняя невидимую муху.) Доктор зовет это "провалами".

Он снова замолчал, пытаясь улыбнуться. В

глазах появилось какое-то странное выражение. Мушетта заметила, что один его зрачок еле заметно закатился под верхнее веко.

- Что? Удивляешься? - сказал он. - Ничего не поделаешь! А может, это во мне все еще проклятая можжевеловая играет? Да не беспокойся ты! Вспомню рано или поздно. Заметь, что самое-то главное я не забыл, вот только подробностей никак не соберу. Или, вернее, все они вот тут, под рукой, да никак их не распутаешь! Знаешь, как нитки в клубке.

Присев на корточки, чуть разведя руки, уперев ладони в пол, вся перегнувшись вперед, Мушетта походила сейчас на кошечку, подстерегающую мышонка.

- Да и впрямь, что спрашивать с пьяного? Ходишь-ходишь, а в голове остается одна какая-нибудь картина или же две, зато четкие как фотография. Да что говорить, вот как сейчас тебя вижу, так вот вижу, что держу капкан за пружину, а пружина сантиметров шестнадцать будет, и хрясь! Два раза его по башке. А штучка, черт бы ее побрал, около пяти килограммов весит! Он как грохнется лицом вниз и начал сучить ногами, сперва быстро, быстро, потом помедленнее, а под конец уж совсем шевелиться перестал, уткнулся

носом в колею, а кругом все красное. А вот что до того произошло, не припомню. А после?.. Так вот, красавица, после, по-моему, я так и остался стоять, даже не посмел его перевернуть лицом вверх, и не скажу, чтоб я так уж собой гордился. Если даже ему череп не размозжило, он непременно в воде захлебнулся. Да что там говорить, не так уж трудно опознать парня, который кончился, уж ты мне поверь на слово. Ногами он брыкал здорово, я тебе уже докладывал, как кролик, если ему в голову пулей угодишь. Ну а...

Он снова провел ладонью по лбу.

- И все-таки сейчас, когда стреляли, я подумал: не помер он - это он напарника своего зовет. В такую погодищу кому же, к черту, приятно сидеть в засаде да дичь ждать? Ведь вся дичина сейчас куда посуше забилась. Да, впрочем, я узнал по звуку его ружьишко: английское, короткоствольное, порохом заряжается, а при сырой погоде этот порох затяжной выстрел дает...

Он мог теперь сколько угодно разыгрывать хладнокровие, Мушетта не поддавалась на обман. Горящим взглядом она впивалась в это уже такое знакомое лицо, которое, чудилось ей, видела сейчас впервые. Или вернее, будто это было первое человеческое лицо, в которое она вглядывалась

по-настоящему, с таким напряженным, с таким нежным вниманием, что собственная ее жизнь словно бы растворилась в нем без остатка. Вовсе она не считала его таким уж красивым. Просто оно было создано для нее, оно все целиком так удобно укладывалось в ее взгляд, совсем так же, как укладывается в ямку ладони рукоятка ее старого ножа - нож, единственную свою драгоценность в этом мире, она нашла как-то вечером на дороге и никому не показывала. Ей ужасно хотелось бы приложить руку к этому лицу, но с нее хватало радости смотреть на золотистую смуглую кожу, такую же теплую, как только что испеченный хлеб.

Конечно, не бог весть какое красивое лицо. Лица знаменитых киноактеров, иногда попадавшиеся ей на глаза в газетах, принадлежали людям совсем иной породы, чем она, таких она никогда и не увидит в жизни, и испытывала она к ним какое-то презрение пополам с завистью. А вот это лицо - лицо свое, родное, лицо сообщника. Словно в озарении молнии, оно вдруг стало для нее таким же близким, как собственное. И счастье, какое она испытывала от созерцания этого лица, было заложено вовсе не в нем, а в ней самой, в глубинах ее существа, где притаилось это счастье,

ожидая своего часа, как зерно, похороненное под снегом. И не от этого места, не от этого часа шла ее радость, и не было на свете такой силы, чтобы ослабить могущество и сладость самой его сути. Пропадет на мгновение, и вновь возродится само по себе, следуя естественному своему ритму, как, скажем, потребность во сне или в еде, что наступает через строго определенные промежутки.

Боже ты мой, ну конечно, бывало, и она тоже думала о любви, но для того, чтобы обуздать физическое отвращение, над которым сама была не властна и которого даже втайне стыдилась, надо было придумывать себе каких-то совсем иных людей, ничуть не похожих на тех, что ее окружали, но воображение быстро утомлялось непривычной работой. А сейчас это лицо, которое она участливо, с дикарской бережностью, все целиком вбирала взглядом, не тревожило ее, и смотреть на него было так же спокойно, как на свое собственное, когда оно, бывало, отражалось в единственном зеркале, имевшемся у них дома. Да, да именно так, - таинственное подобие собственного ее лица, только в тысячу раз дороже. Потому что в иные дни, когда, скажем, случайно брошенная насмешка Мадам вдруг касалась наболевшего места, тогда и без зеркала она знала,

что щеки неудержимо заливает краска, что начинает дрожать подбородок, предвещая близкие рыдания, - как тогда ненавидела она свое лицо, как его презирала. А вот лицо мосье Арсена никогда в жизни не будет для нее ни смешным, ни отталкивающим.

Даже вот эта пьяная ухмылка, которую она так ненавидела на губах отца и которую, увы, обнаружила на губах нового своего друга, и та внушала ей лишь нежность и сочувствие, и еще неведомое ей доселе чувство - ибо мальчишки вызывали у нее отвращение - внушало смирение, смешанное с желанием защитить, укрыть, рождало неистощимое терпение, терпение, которое превыше любой брезгливости, - материнский инстинкт, только что распустившийся в груди, хрупкий, как майская роза.

- А вдруг стражник и вправду не умер, - начинает она, - зачем тогда, мосье Арсен, говорить, что я вас видела у кабачка? Лучше придумать что-нибудь другое.

Он стоит, прислонившись к стене, заложив за спину руки, свесив голову, и смотрит на нее сверху вниз. Огромные капли пота проступают у корней волос и одна за другой медленно сползают на голую грудь.

- Ну и что? - вяло отзывается он. - Если он только сможет, то наверняка расскажет. Будет твердить "да", я буду твердить "нет", вот-то газетчики порадуются. Я ли, кто ли другой, а у нас тут полно парней, которым не терпится с ним свести счеты, а если тебя здорово трахнули по башке, вряд ли у тебя хватит времени оглянуться.

- Дело в том, мосье Арсен, если я могу оказать вам услугу, то, видите ли, надо попытаться все вспомнить...

- Вспомнить... вспомнить... Слишком ты многого хочешь, красотка. У меня и так в голове гудит, словно улей.

В серых глазах вспыхивают искорки гнева и тут же гаснут. Всего на миг, однако Мушетте чудится, будто она прочла в его глазах смутную мольбу, мучительный зов.

- Ну чего я тебе скажу? Он лежал, да, лежал, уткнувшись лицом в колею, и дождь молотил, вода так и журчала. И ногами дрыгал, это уж верно, это я сам видел.

Бледные щеки приобретают зловещий серый оттенок, правый зрачок почти совсем скрылся под веком. Но больше всего пугается Мушетта при виде его рта, чуть покривившегося, с капелькой пены в углу губ, ставших такими же серыми,

как щеки. Она с трудом подымается с земли, ее шатает. Мосье Арсен словно и не видит ее. Она кладет ладонь на его правую руку, судорожно прижатую к груди, как бы в защиту от таинственной опасности, но это простое движение требует от нее такого усилия, что она начинает дрожать всем телом, язык пересыхает, делается таким шершавым, что каждое слово дается с трудом:

- Я скажу... скажу, что... я спряталась в лесу... и что вас видела... видела, как стражник вас... Да послушайте же, мосье Арсен, слушайте, прошу вас! Сказать, что он был пьяный, или нет? Можете на меня положиться. Я их вот как ненавижу, ничего они от меня не добьются.

Он с трудом отрывает себя от стены, делает несколько неверных шагов на негнущихся ногах. Сейчас он похож на ребенка, который вскочил с постели, еще не доглядев снов, еще отяжелевший от дремоты.

- Слушай, малышка, - заикаясь, произносит он, - в глазах у меня темно, и затылок разламывает, сейчас наверняка припадок начнется. Ты не особенно переживай. Следи только, чтобы я головой о стенку не трахнулся...

Он рухнул, как стоял, так падает подрубленное дерево, наводя на окружающих страх. Она услы-

шала даже странный звон - это он ударился об пол подбородком. Как можно вот так вот рухнуть и остаться в живых? Потом, когда он перевернулся лицом вверх, она увидела, как втянулся его живот, глаза закатились, нос заострился и стал еще белее, чем все лицо. И потом он снова одеревенел и со странным вздохом, будто кузнечные мехи проткнули, выгнулся дугой, упершись в землю затылком и пятками. Широкая грудная клетка, застывшая в судорожном вздохе, вдруг заходила медленно-медленно, но с такой силой, что казалось, ребра вот-вот прорвут кожу. Так прошло с минуту, потом из перекошенного рта струей хлынула водка вперемежку с пеной. И сразу же черты разгладились, стало спокойным искаженное лицо, но на нем застыло выражение такой муки, такого изумления, что он был похож теперь на мертвого ребенка.

Мушетта присела на корточки рядом, почти касаясь его плеч. Что делать? Никогда еще она не видела, чтобы мертвец лежал вот так прямо на голой земле, а не на смертном ложе, рядом с которым стоит в фаянсовой миске веточка освященного самшита и заунывно бормочут зловещие старухи, бдящие над покойником, хлопочущие вокруг усопшего, как хлопочут они

вкруг роженицы. Впрочем, и предпринять ничего она не в силах, роковое сцепление всех этих непонятных событий совсем добило ее. Тщетно пытается она собрать их воедино, они безнадежно путаются в ее мозгу, и не будь то чувство, что удерживает ее здесь, сильнее страха, она бы содрогнулась от ужаса. На единственный жест она все-таки решилась - просунула ладонь между затылком мертвеца и глиняным полом.

До чего же легкая у него голова! Стоит только чуть-чуть нажать кончиком пальца, и она уже поддается, клонится вправо или влево. Со всей отпущенной ей природой нежностью Мушетта сжимает эту голову руками, тихонько приподымает ее. Теперь веки у него закрыты, и губы морщит слабая улыбка. Кончиком передника она вытирает пену, проступившую в углах рта. И ей чудится, будто сама ее жизнь тоже улыбается совсем такой же улыбкой. Ничего ей больше не нужно. Приди сейчас ей в голову мысль коснуться губами этого лба, по которому скользят ее растрепавшиеся пряди волос, она бы и коснулась. Но она об этом даже не думает. Желание ее подобно той теплоте, что греет живую плоть, оно разливается по всем жилкам, не вызывая никаких определенных образов. Она держит в ладонях эту любимую

голову совсем так, как держала бы какой-нибудь бесценный предмет, и мучил бы ее тот же страх - лишь бы не разбить, не потерять. Она не смеет даже положить ее себе на колени.

И вдруг она запела.

Произошло это так естественно, что она сначала даже не заметила. Ей казалось, что она мурлычет, не разжимая губ, сотни раз слышанную-переслышанную песенку, потому что огромный граммофон с нелепой ярко-красной трубой, выставленный в окне кабачка, каждое воскресенье повторяет ее без конца. Это какой-то танец, люди говорят - негритянский танец. Слов не разобрать. Обычно-то она слушает его с отвращением, но мотив привязался, вытесняя из памяти любимые мелодии Мадам. Иной раз глубокой ночью, когда пьяный отец, возвратившись домой, с грохотом швырнет дверь об стену, Мушетта разом вынырнет из черной бездны сна, куда, с тех пор как она стала девушкой, проваливается с головой - так вот, прежде чем снова заснуть, она начинает потихоньку напевать эту песенку про себя, натянув на голову одеяло.

Уже давно, еще тогда, когда Мушетта мысленно шла за ритмом и всплесками причудливой мелодии, она изумлялась, что у нее так хорошо

получается, и к изумлению этому примешивался смутный страх. Ей чудилось, будто она ступила на покрытый снегом склон, совсем забыв, что после первых же шагов начинается головокружительный спуск. Когда, осмелев, она начинала мурлыкать, не разжимая губ, эту мелодию, ее, трепещущую, ошеломленную, в мгновение ока покидал овладевший ею демон пения, и на нее накатывало непонятное смятение, руки холодели, становились влажными от пота, кровь волнами приливала к вискам, как если бы она вдруг очутилась совсем голая перед гогочущей толпой.

И здесь, в этом тихом убежище, равнодушно внимающем всхрапам пьяницы, она вслушивается, как медленно, шаг за шагом, угасает выдуманная песенка, как бешено бьется о ребра ее испуганное сердце.

Как же сама она дивилась, что на этот раз превозмогла свой страх, который поначалу возобладал было над всеми прочими чувствами. Она вслушивалась в этот чистый, рвущийся из груди, еще чуть дрожащий голосок, голосок почти неестественной хрупкости. Нет и не было у нее такого опыта, что помог бы понять, что этот таинственный голос - голос самой ее жалкой юности,

вдруг расцветшей всеми красками, своего рода возмещение за все давнишние унижения, что она принимала их душой как должное, а временами даже находила в них отдохновение, постыдную сладость.

Этот голос - ее тайна. Единственная, которой она может поделиться с посланным ей нынче диковинным другом, распростертым у ее ног, живым или мертвым, наверняка мертвым. Она отдавала ему свою тайну, как отдала бы себя самое, если бы ребенок в ней все еще не оттеснял женщину. И теперь, когда она доверила другому свое сокровище, она сама уже не узнавала его. Слушала свое пение со смиренным жаром, оно освежало душу и тело, ей самой хотелось омочить в этих звуках ладони.

Длится это долго - по крайней мере ей так кажется. Возможно, минуту, длиной в целый день. Внезапно колдовской голосок смолкает. И, опустив глаза, Мушетта видит, что руки ее пусты.

Мосье Арсен стоит перед ней, лицо его все еще в грязи. Из верхней губы, разбитой при падении, сочится кровь.

- Ну и ну! - говорит он. - Нашла тоже время петь!

Он пытается рассмеяться, но во взгляде его,

странно бегающем, как у затравленного зверя, вспыхивает подозрительный огонек. Он проводит рукой по лбу, смотрит на свою перепачканную грязью и кровью ладонь.

- Должно быть, у меня припадок был... Для нервов это, конечно, не слишком-то хорошо, но для здоровья не опасно. У моего папаши тоже была эпилепсия. Так по крайней мере мне говорили, потому что я-то своего папаши не знал.

Сквозь приспущенные веки он следит за каждым движением Мушетты. По всему видно, что он старается собрать обрывки беспорядочных воспоминаний. Но остерегается спрашивать прямо, боясь себя выдать; однако вопрос сам, помимо воли, срывается с его губ, правда, вопрос осторожный.

- Слушай, красотка, - говорит он, - а не пора ли нам с тобой отсюда смываться? Уже ночь на дворе.

С этими словами он берет мокрую кожанку, снимает со стены ружье, вскидывает за спину мешок, делает шаг к двери, по-прежнему искоса поглядывая на свою спутницу.

- А ну идем! По дороге доставлю тебя родителям У отца небось припрятана за поленницей бутылочка можжевеловой, поднесет нам с тобой.

А ей неприятно, что он уже встал. От усталости, холода, от водки, которая еще до сих пор жжет пустой желудок, ее разморило. Но она послушно берет за руку своего странного друга. Сколько же лет никому не протягивала она своей ручонки? В этот жест она простодушно вкладывает весь переполняющий ее сердце пыл.

- А куда мы сейчас пойдем, мосье Арсен?

- Куда же нам с тобой идти, малышка? Ясно, к вам, черт побери!

- А ваш... а стражник?.. А полиция, мосье Арсен?

Последнее слово она почти выкрикивает, потому что он смотрит на нее как-то странно, не по-обычному. Господи! Вся кровь ударяет в грудь, душит.

- Какая полиция?

Понурив голову, он медленно отступает в глубь хижины.

- Подожди, подожди-ка, - говорит он. - Чуточку терпения. После этих сволочных припадков у меня все в голове путается. Стой, не шевелись, девчушка. Через минуту я все вспомню.

Он бросает последнюю охапку хвороста на остывающую золу. Хворост такой сухой, что загорается от первой же искры огнива. Присев на

корточки перед очагом, он тянет к огню руки. Она опускается рядом с ним на колени...

- Видите ли, мосье Арсен, стражник, которого вы...

- Молчи, тебе говорят! - сердится он. - Заткнись! Мы с ним поругались, он меня обложил, да и я его, что верно, то верно. А потом... А потом... Ага, мы с ним вместе выпили.

Мушетта приподымается с колен, приближает к нему свое лицо.

Она уже отбросила теперь всякую осторожность.

- Мосье Арсен, да вспомните же, - умоляет она. - Он упал. Помните, да? Лицом в колею, и кругом все стало красным... Вы его убили! - кричит она, вся содрогаясь от неудержимых рыданий.

- Возможно! А чем же я его убил? Из ружья?

- Капканом, мосье Арсен, схватили капкан за пружину...

Обхватив голову руками, он погружается в раздумье.

- Капканом... А ведь верно, я ходил, чтобы капкан откопать, умница моя... Тут ты говоришь правду, девочка. Но вот насчет Матье... Помню, мы с ним выпили вместе, это уж точно. А потом... Потом... Кто знает, что потом было? Мы, красотка,

оба сильно набрались.

Вдруг он осекся, как бы пораженный внезапно налетевшей мыслью, которую он еще не способен выразить словами, и мысль эта так и замерла где-то внутри, даже не отразившись во взгляде. Он стоит, прислонясь к притолоке, и кажется, будто он перегораживает дверь широко раскинутыми руками. По крайней мере Мушетта уверена, что он преградил ей путь. Страх уже зреет где-то в душе. Одного этого жеста оказалось достаточно, чтобы страх вдруг овладел всем ее жалким, тощим тельцем.

- Пропустите меня, мосье Арсен! - кричит она и в голосе ее звучит мольба.

- Пропустить? А куда ты ночью пойдешь?

- Домой, мосье Арсен, клянусь, прямо домой!

Он смотрит на нее без гнева, но с каким-то особым спокойным вниманием, с тем непогрешимо уверенным вниманием, с каким выслеживает на опушке леса среди палой листвы след, ведомый лишь ему одному... "Чую дичь", - обычно говорит он в таких случаях. В его задумчивом взгляде ни гнева, ни жалости.

- Не бойтесь, я все-все вспомню, мосье Арсен. А завтра вы тоже все вспомните, сейчас вам хмель мешает, надо бы вам выспаться. Если они начнут

меня спрашивать раньше, чем я вас увижу, я скажу, что...

- Минуточку! - кричит он. - Чего ради ты-то в эту историю впутываешься? Если ты кому-нибудь хоть слово скажешь, я тебе шею сверну, ей-богу, сверну!

Теперь его голос наводит на Мушетту ужас, такой он хриплый и низкий. Но ни за какие блага мира она не уйдет отсюда. Бежать уже поздно; она и побоев меньше боится.

- Мосье Арсен, - прерывает она молчание, - лучше я себя убью, чем скажу что-нибудь вам во вред.

Ей ни к чему продолжать. Тоненькое ее личико выражает такую чудесную решимость, что пьяница глядит на нее с изумлением. Наступает молчание, и ей кажется, будто в тишине она различает удары собственного сердца, готового выскочить из груди.

- Послушай-ка, - наконец произносит он с многозначительностью пьяного, и голос его становится еще ниже, - почему это ты так боишься мне повредить, девочка?

Она и рада бы ответить, но все, на что она способна, - это судорожно проглотить слюну.

- Для девочки твоих лет ты, оказывается, умни-

ца. Любой старухе сто очков вперед дашь.

Головешки в очаге одна за другой покрываются черным налетом. Только какой-то удивительно нежный свет идет отовсюду разом. На стене еле вырисовывается огромная тень мосье Арсена. Да и сам он теперь вроде тени, но можно еще различить его сверкающую улыбку, его белозубую улыбку.

- Я всегда тебя уважал... - начинает он, прищелкивая языком.

На сей раз Мушетта уже не обманывается. Ей знаком этот тон, каждое слово, срывающееся с невидимых в темноте губ, этот голос, словно взвешенный во мраке и до ужаса близкий. Совсем особенный голос! В нем слышится дрожь, не простая, а какая-то бархатистая, и чувствуется в нем что-то фальшивое, надтреснутое, вымученное. Самые вроде бы простые, самые обычные слова кажутся незнакомыми, наподобие тех картонных масок, которые она видела на ярмарке.

Точно так же говорят парни, среди клубов дыма и винных испарений, когда мадам Офрэ нанимает ее в ярмарочный день мыть посуду. Многие девочки, еще не вступившие в возраст любви, не обращают на это внимания, слушают такие речи без страха и отвращения. Придет время, и они

будут глушить страх и отвращение под громкими взрывами неестественного гнусавого смеха, от которого на щеках вспыхивает румянец. Есть в таком голосе как бы запах нищеты. В редкие минуты он может унизить, обеспокоить. Но если принимаешь его без возмущения, он становится неотъемлемой, привычной частью повседневного быта, уже неотличимым от теплого, надежного и бедного твоего гнезда.

Между ними залегло молчание, столь же неверное, как отсветы очага. Какая сила приковывает Мушетту к месту? Она и не думает бежать, хотя вся она боязливое ожидание, сплошной ужас. Плотское, чисто физическое ожидание, плотский ужас, ибо в эту роковую минуту, когда должна решиться ее судьба и уже накинута на эту гордую головку погребальная вуаль, Мушетта окончательно лишается способности рассуждать и предвидеть. Но от этого человека, чье дыхание она уже чувствует на своей шее, от него единственного на свете, она не убежала бы, если бы дело шло даже о спасении жизни.

Однако она ловко отскакивает в сторону, так неожиданно отскакивает, что он еле удерживается на ногах, неуклюже хватается за стенку. Кто знает, может быть, одно-единственное слово мог-

ло бы в эту минуту еще образумить пьяного, но ни единому звуку не прорваться сквозь судорожно сжавшуюся гортань. Зубы Мушетты стиснуты с такой силой, что она сама слышит, как они скрипят. Он бросается вперед наудачу, как бешеный, тянет к ней руки, и сейчас, во внезапном приливе желания, они приобретают страшную силу, дьявольскую ловкость. Однако даже им не совладать с прогнувшейся дугой поясницей, скорее уж они сломают ее. Он грубо толкает девочку к стене. От удара она сгибается вдвое, и с губ ее слетает короткий стон. Впрочем, единственный, слетевший с ее губ. Обгоревшие головешки рушатся в золу. И в сгустившемся мраке нет уже ничего живого, кроме прерывистого дыхания красавца Арсена.

Сжавшись в комочек, она скатывается под заросли дрока и лежит там, даже кролик занял бы не больше места. Изрытый дождем песок подается под тяжестью ее тела, так что она почти целиком укрыта в своей норке. Идущая от земли сырость кажется ей сладостной. С каким-то странным самообладанием она, удерживая дыхание, зорко вглядывается в темноту.

Хижина недалеко, и временами ей чудится, будто по ту сторону рва, до краев заполненного дождевой водой, среди расступающихся здесь

деревьев, она различает ее темные очертания. Там ли еще мосье Арсен? Ничто, буквально ничто не выдает теперь его присутствия. Он погнался было за ней, но, пробежав всего несколько шагов, очевидно, зацепился за выкорчеванный пень, потому что она услышала, как он грубо выругался. А потом еще долго были слышны его быстрые шаги. Он, должно быть, прошел совсем рядом, позади ее норки. Но она даже головы не повернула и сердце ее не забилось сильнее.

Наконец долгую тишину прервал его голос - он окликнул ее сначала робко, почти сконфуженно, а потом вдруг со злостью. Но хуже всего то, что она не знает, там он сейчас или нет, - на том самом месте, где, как ей кажется, должны расходиться две тропки. На счастье, ночь выдалась темная, да и к тому же она будет ждать, сколько потребуется, некуда ей торопиться...

Ее беспокоит боль, боль, отдающая в каждой косточке, добравшаяся даже до самых истоков ее жизни. Ей нравится, что в поселке ее считают "железной девкой". Но теперешние муки не идут ни в какое сравнение со всеми прежними. Мушетта не привыкла вслушиваться в себя, да и времени просто никогда не хватало задуматься над той еле уловимой разницей, что существует

между духом и телом, над тайной их связью. Она терпеливо переносит эту боль, не отдавая себе отчета, откуда она, эту столь гармонично, столь равномерно разлитую по всем жилкам боль, которая, дойдя до высшего своего предела, вроде бы распыляется, тает в тошнотворном омерзении.

Она встает на колени, удерживая рыдания, страшные рыдания без слез. Она все еще вслушивается. Тишина - только круговая капель с мокрых веток. И все-таки сначала она не решается повернуться спиной к невидимой отсюда хижине, она идет пятясь, останавливается в последний раз. Теперь она уже добралась до тропки, она здесь, под ногами, правда, ее не различишь в темноте, но Мушетта угадывает все ее повороты, - вдоль колеи журчит вода, то громче журчит, то тише. Наконец она начинает скользить вниз.

Но, как только она чувствует под ногой твердую землю, ее подхватывает неодолимая сила, влечет вперед, прямо через чащобу. Сначала она пытается еще отводить ветки, а они, намокшие, хлещут по лицу с удвоенной силой, но потом уже не обращает на них внимания. Она бежит, нагнув голову, и только изредка с губ срывается слабый стон, так стонет загнанный зверь, мчась из последних своих сил, которому на миг удается

ослабить мышцы, напряженные до предела ужасом перед близкой гибелью от собачьих клыков.

Она переводит дух только на опушке, на обочине гудронированного шоссе, где все выбоины, наполненные водой, уходя к горизонту, поблескивают во мраке.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Хотя она и попыталась бесшумно поднять деревянную щеколду, единственный и к тому же ржавый гвоздь заскрипел, как обычно, да еще на свою беду, она зацепила ведро, где заваривали отруби для птицы. Мать спит чутко. Как только Мушетта толкает дверь, она тут же ее окликает:

- Это ты? Откуда идешь?

В таком знакомом голосе звучит сейчас что-то незнакомое, тотчас же поразившее слух девочки.

- Поздно домой являешься, - продолжает в темноте голос. - Правда, не знаю я, который час, так намучилась, что сразу после ужина легла. Отца и братьев еще нету. Постарайся развести огонь и согрей малышу молока. Я его напоить не успела, слишком нынче устала.

Давно остыла зола в очаге, и нет в доме спичек, отец, прежде чем отправиться на ночное бдение в кабачок, прихватил последнюю коробку. Ничего не поделаешь! Придется младшенькому обойтись холодным молоком, и Мушетта, как всегда, сует бутылочку за пазуху, чтобы хоть немного ее согреть.

Сколько раз она так делала. Но теперь от привычного прикосновения бутылки - на слишком толстое горлышко четвертинки с трудом налезает резиновая соска, - она вздрогнула всем телом, ее забила неуемная дрожь. У нее вдруг не хватило силы ждать, пока молоко согреется, и, низко нагнувшись над тюфяком, она нашарила в темноте крупного младенца с болезненно рыхлым, синеватым тельцем.

До сих пор она питала к своему младшему братишке лишь скрытое злобное отвращение, потому что этот последний отпрыск рода потомственных алкоголиков имел обыкновение кричать все ночи напролет и засыпал только на заре, словно сраженный солнечным светом, от первых лучей которого он боязливо отводил в сторону свои выпученные глазенки, полуприкрытые ленивыми веками с редкими рыжими ресницами. Отвращение, которое она остерегается выказать слишком явно, страшась побоев, а также еще и потому, что является прямой наследницей клана смиренных матерей, равно покорных и младенцу и мужу. Ей и в голову не приходит усомниться в праве крикуна на близких, хотя бы потому, что иначе он свою власть проявить еще бессилен.

Но нынче непроизвольным движением уто-

пающего, который идет ко дну, она схватила на руки тряпичный сверток, разивший мочой и прокисшим молоком, но, стоило ей почувствовать, как он потихоньку шевельнулся у ее юной груди, она бросилась в дальний конец комнаты и присела с ним на табуретку за дверью, открытой в дровяной сарай.

Удивленный непривычно крепким объятием, ребенок медленно повернул к ней свое дряблое личико, искаженное гримаской смутного страха и тоскливого ожидания. А потом уткнулся лицом ей в грудь, и из вечно липких его губ потекла струйка слюны, никогда не иссякавшей слюны. Ручонками он теребил жалкий корсажик Мушетты, а она не спускала глаз с этих ручонок. При слабом свете ночника, стоявшего в стенной нише, она видела собственную свою худенькую грудь, грудь уже женскую. Вон там под левой грудью, что это тень? Пять нерешительных детских пальчиков коснулись ее груди, и тогда она, уже не сдерживаясь, тихонько зарыдала, судорожно всхлипывая. Слезы текли на бутылочку, на щеки братишки, и он недовольно морщил лицо под этой теплой капелью.

Очевидно, мать ничего не слышала, ничего не заметила, потому что через минуту с постели

снова раздался ее голос:

- Вчера вечером я пеленки с мылом простирнула, сними-ка их с веревки. Нельзя же его на ночь в мокром оставлять, все время будет вопить, а у меня, поверишь ли, голова совсем раскалывается, встать и то не могу. Слышишь, дочка?

Мушетта снова вслушивается, пытается понять... Нет, она не ошиблась, голос у матери не такой, как обычно, не покорно усталый, не тот крикливый, каким она с раздражением обращается к людям ли, к скотине, к коту-ворюге, к выпавшей из рук миске, к провонявшему салу. Сейчас Мушетта слышит его кротким, чуть ли не ласковым. Он никак не сочетается с произносимыми словами, как будто если и приходят в голову матери иные слова, она не осмеливается их произносить вслух и скажет их только тогда, когда придет ее час.

Прежде чем перепеленать маленького, Мушетта вытирает себе щеки грубой тряпкой, ее хоть и простирнули с мылом, но до сих пор от нее разит спиртным. Потом оттаскивает свой тюфячок подальше, ложится не раздеваясь, только скидывает тяжелые от лесной грязи башмаки - от них идет запах гниющих листьев и сосновых иголок.

Обычно-то она спит, свернувшись калачиком,

хотя Мадам с высот гигиенических навыков клеймит эту пагубную привычку - недаром в книге предметного обучения имеется целая глава, посвященная сну, и там рекомендуется спать только на спине, головой к северу, ногами к югу, по ходу магнитной стрелки. Но сегодня, едва она прижимает к груди руки, как тут же отдергивает их и раскидывает в разные стороны.

Раскидывает свирепо-бессознательным движением. Ее тоненькое, худенькое личико с опущенными веками, уже тронутое дремотой, искажается гримасой отвращения. И даже потом, когда она разом погружается в глубины забытья, когда дышит, как и каждую ночь, глубоко и спокойно, руки ее ничего не простили, они отказываются касаться ненавистного тела и так до самого пробуждения судорожно сжимают края тюфячка.

Проснулась она вся в слезах, или, вернее, ее разбудили эти слезы. Они текут по подбородку прямо на шею, даже ворот рубашки слегка увлажнен. Первое ее чувство даже не удивление, а испуг - не плакала она уже давным-давно, да и то когда скупые слезинки гнева жгли ей глаза, они тут же сохли на щеках. А главное, никогда еще она не плакала во сне. Плакать во сне! Откуда взялись

эти противные слезы?

Тонкое одеяло сползло на пол, и снова ее до костей пробирает холод, и от этого холода слабеет воля, стирается даже память о вчерашней беде. Она приподымается на тюфячке и гневно вскрикивает от боли. Хорошо хоть иссякает источник слез, когда она наконец усаживается в привычной своей позе, той, в которой пытается зубрить уроки - коленки подтянуты к животу, а руки охватывают коленки. Еще минуту она борется со сном и внезапно...

Счастливы те девушки, которым первое объятие дарит раскаяние или вообще какое-то смутное, но достаточно сильное чувство, способное заглушить эту безобразную тоску, это тошнотворное отчаяние! Мушетте приходится делать над собой нелепые усилия, чтобы обдумать нелепое свое приключение. Но удается только ускорить бег разодранных картин, сливающихся в один сплошной бесконечный кошмар, в пугающую монотонность ужаса, который порой мучит всю ночь ее, истую дщерь алкоголиков, и который она никак не может стряхнуть с себя, разве что много позже, к ужину, проносив с собой целый день, как вгрызшегося в бок невидимого зверя.

Бегство с уроков, ожидание на обочине дороги,

бешеная скачка через чащобу под гневные порывы ветра и секущий ливень, встреча с мосье Арсеном, из этих обрывков никак не удается слепить связную историю, тут нет ни начала, ни конца, скорее уж это похоже на неясный гул, которым полна сейчас ее бедная головенка, гул, складывающийся в погребальное пение. И когда утихает этот гул, внезапно наступает тишина, подобная беспросветной ночи, тишина, придавившая все чувства; и вот тогда тот голос становится почти неразличимым, голос, произнесший ее имя, имя Мушетты, голос такой тихий, что его с трудом можно расслышать, такой родной, такой единственный, что, даже прежде чем его уловил слух, эти три слога отдались в груди. Ибо мосье Арсен произнес ее имя один только раз, когда...

Да и произнес ли он ее имя? А не было ли это просто коротким мужским всхлипом, всхрапом боязни, смешанной с яростью, - так рычит зверь, поднятый охотником с лежки. Господи! Ведь правда же, правда, что она мужественно переносит любые невзгоды, но, видно, пришел час "расплачиваться", как любит говорить отец. Вот так она без стыда ложилась под розги, желая одного умереть, не в силах даже затаить зло

против своего палача, связанная с ним неким необъяснимым чувством, причастная чем-то к его жестокости, как будто и ей передалась его ненависть. Но так уж повелось, и она не может думать об этом без горечи. Но когда лишь только стихало чувство унижения, она начинала мечтать о будущем отмщении, она чувствовала, как вновь рождалась в ней та самая гордыня, которую, казалось бы, нельзя убить, не убив ее самое. А вот теперь гордыня ее умирает. Умерла. Почему же, почему?

До рассвета еще далеко, и, однако, уже слышна в том конце поселка утренняя перекличка петухов. Сейчас надо будет вставать, держаться. Даже мысль о том, что она владеет тайной, не своей, чужой, ужасной тайной, что придется вскоре предстать перед полицией и речь пойдет о свободе, а может быть, и жизни человека, - даже эта мысль не способна отвратить от нее наваждение. Мстить она не желает, совсем не желает.

Мрачность, обидчивость, - предмет вечных нападок Мадам, - отдаляющие ее от подружек, замыкающие в кольце молчания, могли бы открыть более проницательному взгляду, что уже давно она с горестью ощущает свою бедность, ту бедность, которая покрепче тюремных стен.

Еще вчера она охотно бы признала, что такая девочка, как она, должна рано или поздно примириться с неизбежным, снести от мужчины любое оскорбление.

Школьные подружки не прощают ей злобного равнодушия к мальчишкам, обвиняют в том, что она, мол, шпионит за ними, а сама делает вид, что ее не интересуют их интрижки. Они любят дразнить ее "скрытницей". Что правда, то правда, ничто не ускользает от ее взгляда, она действительно выслеживает девочек с каким-то болезненным любопытством, в котором порой находит даже удовольствие. То, что тогда пробуждается в душе, словно бы отторгается от нее: со сжавшимся сердцем она всматривается, как перед ней разворачивается однообразный свиток все одних и тех же картин - всегда одних и тех же, данных преждевременным и наивным опытом порока, потом все поглощается мраком, и остается лишь смутная, не поддающаяся определению неловкость, так вот бывает, когда память не удержит сна, хотя целый день носишь в душе его отпечаток.

Как-то, уже на самом исходе осени, кузнец Пуржа, который подторговывает также и шкурками и которому отец сбывает свою добычу - хорьков

и куниц, вдруг грубо втолкнул ее в вонючий темный сарай, где он держит свой товар. Она вырвалась, оставив в его ручищах клок своей юбчонки. Хотя сама она, понятно, поостереглась рассказывать об этом происшествии, рассказал подручный кузнеца. Дошло до того, что сам мосье Пуржа приходил к ним умилостивить отца, потому что тот, распаленный алкоголем и родительскими чувствами, грозил принести жалобу жандарму. Из этого памятного события она уразумела, что закон защищает девочек ее возраста, что еще некоторое время она может пользоваться известными преимуществами, с которыми приходится считаться даже такому человеку, как мосье Пуржа, а ведь он бывший помощник мэра и запросто пьет с депутатом.

И быть может, так вот и проснулся в ней не торопясь спавший доселе инстинкт и так же не торопясь созрела в ее упрямой головенке единственная гордость, которая была отпущена ей судьбой и ради которой она, несомненно, появилась на свет божий. Кто произнес бы при ней слово "девственность", тому она простодушно фыркнула бы в лицо. Слово "чистота" вызывает в ней лишь физический образ прозрачной воды или - что еще наивнее - образ прекрас-

ных девушек, которых каждое лето привозят в окрестные замки, и одеты они в свежие платья, и длинные их пальцы с минуту медлят на дверце машины, и голоса у них нежные, смеющиеся. Но, несомненно, та великая гордость, которой ни одно живое существо не бросило милостыни подлинного счастья, та изголодавшаяся гордость, которую приходилось вскармливать втайне, за свой собственный счет, собственной своей плотью, не нашла ли эта гордость в минуту ребяческого внезапного осознания своей физической нетронутости то, что необходимо ей для полного расцвета?

Ей нечего кичиться своим тщедушным телом, зачастую в синяках от побоев, в царапинах от колючих веток кустарника, продубленным злыми зимними ветрами да еще облаченным в нелепые платьишки, которые выкраивает мать из своих ношеных-переношеных кофт. Ее неукротимая чистота не имеет ничего общего с тем другим чувством, которым на протяжении веков девушки, безусловно, куда больше обязаны поэтам и художникам, нежели сокровенному инстинкту защиты, считающемуся врожденным. Кто из хорошеньких, поглощенных собой девушек, еще до того, как пробудятся их чувства, их

самообожание, кто из них не назовет чистоту бунтом стыдливости против постыдных унижений, которым подвержен этот их идол, вопреки совместным усилиям парфюмеров и портных?

Никогда Мушетте не было ведомо это отвращение. Она только восхищалась тем, что девушка может отказаться от всех благ молодости, которая дается нам лишь один раз. Ценность этого дара не слишком ее интересовала. Она готова была примириться с тем, что дар этот сродни ее бедности, такой же нищенский дар, как она сама. Если у нее его выманят, это и будет ее тайным мщением. Но еще вчера некий тайный голос в глубине души твердил ей, что она сама в один прекрасный день предложит его.

Конечно, все эти мысли выстроить в один логический ряд она неспособна. Неясный образ мосье Арсена, подобно обломку кораблекрушения, скользит по течению ее мечты. Ей начинало казаться, будто браконьер смотрит ей прямо в глаза с выражением высокомерного равнодушия, презрения, и тогда вся кровь бросалась ей в лицо и затем горячим потоком заливала заледеневшую грудь. Ее осквернили как бы врасплох, в восторженную минуту смиренного благоговения, и не может она почувствовать к тому, кто похитил ее

чистоту, настоящей ненависти, женской ненависти. Память о грубом насилии сливается в ее ребяческом представлении с множеством других обид. Разум ее не слишком-то четко отделяет это насилие от варварских расправ пьяницы-отца. Но в оставшемся после этой ночи чувстве стыда таится нечто незнакомое, ведь до сих пор она боялась и презирала своих мучителей. А мосье Арсен как был, так и остался на том пьедестале, куда вознесло его ребяческое обожание, остался навсегда, навсегда остался! О, проклятое детство, не желающее умирать!

Она долго борется со своей болью. Ловит на грязных половицах первые отблески зари. Ей не терпится посмотреть на себя, на свое лицо, на свои глаза. Ей кажется, будто если осколок зеркала, единственного зеркала на весь дом, подтвердит, что на этом упрямом лбу, как и всегда, ничего нельзя прочесть, тогда к ней вернется мужество. Разве сама не видела она сотни раз, с удивлением, почти с ужасом, как лгут другие лица, еще хранящие жар последних поцелуев, не замечала этих наглых взглядов? Сколько раз, когда посылали ее в погреб кабачка нацедить сидра, она видела такие лица, вдруг возникающие из темноты, где-нибудь в уголке пустой комнаты,

так как смышленая хозяйка в ярмарочные дни нарочно забывала запереть свое заведение на ключ!

Но увы! Нет ни малейшего сходства между теми лицами и ее, те лица уже не детские. "Такое маленькое личико, - говорит Мадам, - может уместиться у меня в горсти!" Не могут же всерьез относиться к такой внешности ни мосье Арсен, и никто другой. Жила в ней великая надежда, до того великая, что ее не вмещало даже сердце, надежда, не дарившая ни капли подлинного счастья, та, что запечатлелась в памяти лишь как чудесное, граничащее с боязнью ожидание, так вот эта великая надежда оказалась всего-навсего предчувствием унижения, еще более горшего, чем все прочие, хотя и сродни им. Только на этот раз оно задело ее глубоко, так глубоко, что вся ее плоть отвечает на него неведомым еще страданием, расходящимся из самой сердцевины жизни по всему ее намученному телу. Пусть эти страдания рано или поздно пройдут, след от них никогда не изгладится. Вот она, тайна Мушетты. Кому бы в будущем ей ни предстояло открыть свое сердце, все равно ей не избыть этой тайны, ибо в распоряжении несчастной девочки всегда только несколько самых простеньких мыслей, да и тех

не выразить словами, так как еще слишком беден ее словарь. Тайна эта так и останется тайной ее плоти... Ах, если бы только знать наверняка, что мосье Арсен ее ненавидит! Но он не ненавидит ее. Стоит ей закрыть глаза, и она слышит: "Я всегда к тебе по-дружески относился..."

Слова эти, как бы произнесенные чьими-то невидимыми устами, буквально срывают ее с постели. С минуту она стоит неподвижно, согнувшись чуть ли не вдвое, опершись одной рукой о стену, другую прижав к животу. Ах, будь она на два года постарше, пусть даже всего на один год, - мосье Арсен с ней так бы не посмел обращаться. Впрочем, и она бы тогда защищалась. Ведь он же пьяный был. А разве пьяный знает, что делает? В прошлом году парни, которых жандармы так и не нашли, хотя вся деревня твердила их имена, в день розыгрыша лотереи изнасиловали старуху Шоде, ихнюю блаженненькую, которая живет чуть ли не в шалаше и которая от шести различных отцов, так и оставшихся неизвестными, прижила шестерых детей и каждого очередного младенца держала в ящике старинного комода, вместо люльки, и вскармливала хлебом, смоченным в сладком сидре...

Хоть бы удалось заплакать, но слезы не идут,

уж слишком она стыдится себя, своей беды, слишком уж себя ненавидит. Не по ее вине ее мучит стыд, нет, не по ее! Ей ненавистно то черное разочарование, то мерзкое заблуждение, куда разом рухнула вся ее юность, настоящая ее юность, та, что еще вчера жаждала отсечь от себя детство, родиться на свет божий, единственный шанс и тот потерянный, неизгладимое пятно!

Ледяная сырость подымается по ногам, так как пол у них просто глиняный, а в щелку под дверью без помех задувает ветер. Синяк на груди, уже давно переставший болеть, вдруг снова дает себя знать, начинает пульсировать. Нет, не вынесет она теперь взгляда Мадам, этого равнодушно-презрительного взгляда, которому никогда и не проникнуть в ее тайну. Бросить ей вызов, всем им бросить вызов! Лгать никогда не казалось предосудительным Мушетте, ибо ложь самая драгоценная да, пожалуй, и единственная привилегия несчастных. Но сейчас ее гордыня страдает слишком жестоко - от того, что на этот раз придется скрывать. Любое бы она предпочла, только не то, что ждет ее впереди, - череда сереньких дней.

По ребяческому ее разумению, убийство стражника и изнасилование четырнадцатилетней девочки - два одинаково тяжких преступления в

глазах правосудия, равно наказуемых законом, тем самым загадочным законом, покровительство коего обходится беднякам слишком дорого. Так что ее свидетельство ничем не поможет человеку, которого она любит. Да, впрочем, она и не верит всерьез, что он будет сидеть и ждать, когда за ним придут жандармы. Такой парень всегда сумеет вовремя смыться. Сейчас он небось уже где-нибудь далеко. Если только, конечно, не забился в какой-нибудь более надежный тайник, не изобрел какого-нибудь более удачного хода; ведь правосудие так легко одурачить! И в глубине сердца она желает смерти стражнику Матье.

- Чего это ты там стоишь? - спрашивает мать.

Мушетта не отвечает на вопрос. В комнате такая темень, что ей кажется, будто она отгорожена стеной от всего остального мира. Очевидно, мать просто услышала, как она копошится. Вообще-то у матери не такой уж тонкий слух.

- Что-то мне совсем неможется, - продолжает в темноте голос. Возьми-ка в ящике свечу. И пошарь в старых отцовских штанах, может, там, в кармане, коробок спичек завалялся. Он в новых брюках ушел.

При свете свечи Мушетта смутно видит страдальческое лицо, но, впрочем, не обращает на это

особого внимания. Уже давно домашние привыкли к ее болезни, привыкли, но не притерпелись. Когда отец с сыновьями, вернувшись под утро, обнаруживают ее сидящей на табуретке в одной рубашке и юбке, хотя в комнате холодище, и она мерно покачивается всем телом, вперед и назад, вправо и влево, будто убаюкивает младенца, - а это она боль свою убаюкивает, - никогда они ее ни о чем не спросят - еще чего! Просто сами, чертыхаясь сквозь зубы, разведут огонь, разогреют себе кофе. А страдалица, добитая их молчанием, словно бы прося извинения, начинает чуть слышно стонать, не разжимая губ. Вроде бы поет. Иной раз бросит, явно ожидая ответа: "Совсем меня болезнь загрызла, надо бы доктора позвать". На что следует глухое невнятное ворчание, ибо бедняков ничуть не трогают застарелые хвори,- только еще один тяжкий крест, столь же роковой, как и все прочие, и этому никакой доктор не поможет!..

В свое время сама больная была того же мнения и долго крепилась. Но сегодня иссякло и ее терпение. Ее берет страх. Эту боль в руке, в плече, она бы еще кое-как выдержала. Отпустит ненадолго, а потом снова навалится, да и боль всегда одна и та же, то резкая, то потаенная, в конце концов начинает внушать боязливый ужас, мало-помалу

вгоняет в детство. Конечно, от доктора она большой помощи не ждет! Врачи, как и ветеринары, обходятся дорого и только языком чешут. Но ей-то как раз и кажется, что если бы она наговорилась всласть о своей болезни, ей стало бы гораздо легче, потому что кумушкам уже надоело ее слушать - изредка заглянет какая, сидит и невпопад качает головой. Вот доктор - единственный, кто охотно выслушал бы ее рассказ, - их совсем молоденький доктор, похожий скорее на девушку; и руки у него белые-белые, как у повитухи. Впрочем, и видела она его всего только раз, когда его пригласили к бакалейщице, у которой такая же болезнь, как и у нее. Но с тех пор, как ее уж очень допечет, она мечтает его увидеть.

Ладно, ничего не попишешь! Хотя она нередко сцеплялась с отцом, мужчина есть мужчина: никогда бы она не осмелилась, по любимому ее выражению, "самовольно позвать доктора", хотя ее пьяница муж пропивает в неделю ровно столько, сколько стоит визит врача, не говоря уже о том, сколько он зря по кабакам времени теряет. Пьяница же отлично понимает, в чем тут дело; и продолжает молчать не из злобы даже, даже не из жадности, а просто из-за своего идиотского упрямства, которое заменяет ему всякую работу

мысли, хотя сам он считает, что это именно и называется мыслить. А может, и потому, что нагляделся на женщин, которые хоть и страдают, но не жалуются.

Мушетту настораживает не так исказившееся лицо матери, как ее голос, в котором звучит непонятная, необычная нежность. Слова она произносит самые обыкновенные, и, однако, слышится в них какой-то отголосок смиренной просьбы, даже мольбы, так что Мушетта ошалело смотрит на мать, и свеча дрожит в ее вытянутой руке.

- Осторожнее, пятен насажаешь! - говорит больная беззлобно. - Прилепи свечу к стене. Когда вот такие боли начинаются, все-таки приятнее, если светло!

Она пытается присесть в постели, и тотчас же лицо ее становится белым, как полотно. С минуту, которая кажется бесконечной, она молчит, но, видно, ей так же страшна тишина, как и потемки.

- Подойди-ка сюда, - говорит она, высунув из-под одеяла голую руку. Вот здесь жмет, в самой середине груди. Чисто камень там лежит. Что с ним делать-то, а?

Конечно, последняя фраза - вопрос ритори-

ческий и довольно туманный вопрос. Однако Мушетте почему-то представляется, что мать просит у нее совета. Тщетно пытается она найти ответ и только тупо переступает с ноги на ногу.

- Попробуй разжечь огонь, если только хворост остался, - продолжает больная. - Когда у твоего братишки колики начинаются, я ему припарки из крахмала делаю, а то совсем оборется. Попробуйка и мне сделать. По-моему, тепло мне только на пользу. Смотри только, не разбуди Гюстава, сама знаешь, раз начнет, ничем его не остановишь.

Мушетта копается в дальнем углу комнаты. Потом подходит к матери, держа кончиками пальцев пустую жестяную банку.

- Крахмал кончился, мам!

С минуту они молча глядят друг на друга, потом мать тревожно отводит глаза и пытается что-то сказать, стараясь, чтобы голос прозвучал как обычно:

- Возьми тогда муки, - говорит она, - тоже неплохо.

Муки! Вчера вечером они, должно быть, купили муки у торговца, который по субботам приезжает сюда на грузовике. Сделали запас на целую неделю.

- Только не сыпь много, - добавляет больная.

- Возьми, сколько нужно. Чтобы получилась припарка в две твои ладони, не больше. Ой-ой-ой! Поторапливайся, дочка!

Вздохнув еще раз-другой, мать замолкает. Кастрюля у них старая, и Мушетта зорко следит, чтобы мука не липла к стенкам. Поэтому она беспрерывно помешивает ее деревянной мутовкой. Запах месива щекочет ей ноздри, добирается до кишок. Боже, до чего есть хочется! Размазывая кашицу по ветхой тряпке, она не может удержаться от соблазна - облизывает палец, к нему прилипли комочки безвкусно-пресного варева.

Мать уже открывает грудь, осторожно отводит больную руку. За эти несколько минут лицо ее странно изменилось. Кожа как-то особенно туго обтягивает кости, и когда пляшущий огонек свечи падает ей на лицо, оно блестит, будто восковая маска. А нос каким-то чудом стал гораздо длиннее. И оттого, что запали ноздри, он кажется неестественно острым.

Когда горячая припарка касается ее груди, она испускает легкий крик. А Мушетта уже отходит от постели. Но мать смиренно просит ее:

- Побудь со мной, дочка. Думаю, от тепла мне хуже не станет, даже дышать вроде легче, что бы я без тебя делала, бедняжка моя Дуду, ведь у меня

сил не хватает даже свечу погасить.

Дуду! Мушетта вспоминает, что мать называла ее так ну от силы раз десять за всю их жизнь, да и то уже давным-давно. Зато ласковое это имя полюбилось дедушке, бывшему шахтеру из Ланса, дедушки в семье чуточку стыдились, всем в округе было известно, что целых пять лет он отбыл на каторжных работах в Гвиане, сослали его туда за какое-то темное дело, как говорили, за грехи молодости.

Родным он хвастался, что по возвращении зарабатывал себе на жизнь, выступая на ярмарках в качестве борца-любителя, впрочем, он не столько боролся, сколько стоял у входа в балаган голый по пояс, демонстрируя зевакам свой не слишком богатырский торс, зато украшенный изумительной татуировкой в три цвета. Постепенно он опускался все ниже и ниже, и в один прекрасный день мать чуть не сомлела от страха, когда перед ней появилось эдакое дряхлеющее привидение, неузнаваемое даже для дочерних глаз, в солдатской рубахе и штанах, в огромных башмаках явно того же происхождения, а все его барахлишко было завернуто в салфетку, на которой большими красными буквами был напечатан штемпель Дижонского вокзального буфета.

Впрочем, прожил он у дочери всего полгода, пожираемый запоздалой чахоткой, осложнившейся еще астмой и эмфиземой, отчего при дыхании в груди у него так клокотало, так хрипело, что всем становилось тошно, всем, кроме Мушетты, которой тогда было всего пять лет. "А ну слушайка, птенчик мой Дуду!" - говорил он, обращаясь к внучке. Была она единственным существом в доме, которого он не оскорблял, хотя с утра до вечера цедил сквозь почерневшие корешки зубов до того забористо-гнусные ругательства, что большинство их не понимал даже зять, уж больно живописно сливались в них тюремное арго и загадочный лексикон ярмарочных фигляров.

Однажды вечером, когда у него был сильный жар, он, презрев все мольбы и даже угрозы, решил попытать одно верное средство, какому - как он уверял его обучили в Америке дикари. Пошел, разделся донага и зарылся в теплую соломенную подстилку в коровнике у добросердечного соседа. Утром его нашли мертвым.

Мушетта не знала, любила ли она деда. Но, во всяком случае, не боялась. И иногда он умел ее рассмешить. Даже когда его, мертвеца, положили на единственную в доме кровать, привезенную еще из далекой Фландрии, неслыханная роскошь,

доставшаяся им по наследству, - и тогда дедушка казался ей скорее смешным, ибо его изможденная физиономия прожженного бродяги мало подходила для торжественной минуты вечного успокоения, оно сошло на него так внезапно, что казалось, он просто ломает комедию, напустив на себя похоронно-серьезный вид, что он состроил одну из своих чудовищных гримас только он один и умел так гримасничать, - еще накануне перед осколком зеркала, прибитого к стене, он строил самому себе разные рожи... Сквозь изношенную до дыр ткань рубашки смутно проступала знаменитая его татуировка. Можно было разглядеть женскую головку с длинными миндалевидными глазами, с алым, почти круглым ртом, сложенным сердечком.

- Бедная ты моя Дуду!

Мушетта чувствует, что все ее существо, изнемогшее в многочасовой борьбе, трепещет от этих смиренно-ласковых слов. Но уже давно, очень давно, она отвыкла от любого бездумного доверия: выражение закоренелой настороженности придает ее лицу какую-то особую жесткость. Ах, если бы только она могла склонить голову на край материнского ложа, она не удержалась бы, она прильнула бы к плечу матери, поддавшись

тому же самому неодолимому порыву, в каком она только что прижимала малютку-брата к своей груди.

- ...Вот горе-то, неизвестно, который час, - продолжает больная, и в голосе ее звучит неодолимая усталость. - Когда ветер с моря дует, не слышно, как часы на колокольне бьют.

- Верно, еще пяти нету, - говорит Мушетта. - Но ветер вроде переменил направление из-за циклона.

- Циклона? Да какого циклона-то? Где ты этот циклон видела, доченька?

- Вчера вечером, черт возьми!

- Вчера вечером? Да это морской ветер был, просто морской, только сильный. Как соседка днем белье постирала, так она на ночь даже простыни с веревки не сняла.

От удивления Мушетта чуть не уронила свечу, которую пыталась вставить в горлышко пустой бутылки. И, однако, она не возражает, ни на минуту она не сомневается в том, что мать говорит правду. Нет ни одного события минувшей ночи, которое не казалось бы ее взбудораженной душе обманчивым, предательским. Впрочем, о циклоне-то, настоящем или выдуманном, она помнит твердо только потому, что о нем говорил

мосье Арсен. Ах! Это здание таможни, словно бы окруженное паром ("не дымом, понимаешь, а паром") и крыши домов и вроде "там какой-то зверь, ну дракон, что ли" - ничего она не забыла, все эти трудно вообразимые вещи она видела отчетливее, чем огонек вот этой свечи, так как рождались они одна за другой перед глазами ее ночного спутника из глубин его пьяного бреда...

Ох, конечно, сейчас мосье Арсен уже не помнит ни о каком циклоне, вряд ли даже помнит о ней, Мушетте... Мечта! Ее даже не мужчина обманул, а мечта... Господи, пусть хоть кто-нибудь знает ее тайну!..

- Слушай, мам, - начинает она и внезапно так низко клонит голову, что касается щекой волос больной.

Проклятье! Гюстав, разбуженный светом, с минуту лежит спокойно, скорчившись, но одеяло соскользнуло, потащив за собой тщедушное его тельце, ножонки запутались в жалком подобии пеленки, его щиплет холод, тянущийся из-под двери, и он испускает крик пронзительный, непрерывный, невыносимый, не выражающий, несомненно, ни удовольствия, ни боли, просто что-то смещено в этом крохотном, несчастном мозгу, и кажется чудом, как эти хилые легкие еще

могут выдерживать такое напряжение.

- Да уйми ты его, - молит мать хриплым голосом, и в блуждающем ее взгляде застывает настоящий страх. - Не могу я сейчас его слышать, ну просто не могу и не могу. Ох, ох!

Мушетта на ощупь хватает сверток уже липких тряпок. Верно, и ее этот визг сводит с ума. Она пытается заглушить его песенкой, но и песня тут же становится еще одним нескладным криком.

- Ой! Ой! - стонет больная. - Опять меня схватило. Будь оно все проклято! Я-то думала, пройдет. Дышать нечем. Открой окно! Тебе говорят, окно открой!

Мушетта подходит к кровати, перескакивает с ноги на ногу, покачивая на ходу свою ношу. На мать страшно глядеть. Последним усилием воли умирающая садится на своем ложе и, вся скрючившись, жадно тянет посиневшие губы к порогу, хотя дверь еще закрыта.

Не выпуская из рук Гюстава, Мушетта приоткрывает дверь, потом сильным ударом ноги отбрасывает ее к стене. Дом их обращен на северо-запад, и влажный морской воздух прокрадывается в комнату, кажется даже, что он как-то странно дрожит, словно огромная шапка листвы.

- Уйми ты его! Уйми ты его! - монотонно твердит больная.

Но напрасно Мушетта окутывает чахлое тельце корчащегося от судорожных рыданий Гюстава единственным, впрочем тоже уже мокрым, шерстяным одеялом. Крик не прекращается. Но и громче не становится. Им-то он кажется пронзительным, но, очевидно, не слышен еще в тесном дворике, иначе пес Бало непременно бы загремел цепью. Этот крик не то что выводит Мушетту из себя, он мучительно отдается в голове. Что делать? Она раскачивает младенца то вправо, то влево, подымает его даже над головой, яростно прижимает к груди.

- Дай мне его, - вздыхает больная.

Но тут же протягивает младенца обратно, кривясь от боли. Лица бедняков, дошедших до последней крайности, способны выражать одно дикарское смирение, - лишь с трудом проступает на них гримаса муки, как и у зверя. Мушетте кажется, что губы матери вспухли. Нет: это просто высунулся кончик языка, такой же синеватый, как лицо.

- Положи его в люльку, - еле слышно шепчет она. - Накоряжится вдосталь, глядишь - и заснет. Ой-ой-ой! Поди принеси мне бутылочку можже-

велевой. Я ее у входа в погреб спрятала, за ящик. Помирать так помирать, пусть уж я хоть помру без мучений!

Мушетта до того издергалась, что ни о чем уже думать не может и машинально выполняет просьбу матери. Она даже не догадывается, что мать тащит на своих плечах все ярмо их нищеты. Ее вечная болтовня, подчас раздражающая домашних, ее бесконечное ворчание, ее шумные вспышки гнева, от которых ретируется даже пьяница муж, ошалев от неудержимого половодья слов, - это, в сущности, их собственный голос и их собственное молчание, неусыпный, не знающий устали голос их скованных немотой душ, свидетель их бед и выражение их жалкой радости. И также их бунт. На той зловещей галере, к которой они прикованы все вместе, мать была подобна деревянной фигуре на носу судна, в лицо ей хлещет ветер, и море щедро осыпает пенными брызгами.

Тяжело переводя дух, берет мать бутылку можжевеловой. Младенец совсем закоченел от холода и вопит не переставая, теперь из своей конуры ему вторит пес, сначала размеренным лаем, переходящим в рвущее уши повизгивание, подымающееся вверх, словно хроматическая гамма.

Мушетта снова подходит к матери и видит, что умирающая крепко зажала губами горлышко бутылки, а сама дышит с натугой, прерывисто. Можжевеловая льется изо рта, течет на шею, за ворот рубахи. Тут только Мушетта замечает, что мать потеряла сознание. Однако она тут же снова приподымает веки. Ее уже помутневшие глаза ищут знакомые предметы, с трудом узнают их, не знают, за что зацепиться взглядом. Потом она пытается улыбнуться, и от этой извиняющейся улыбки мертвенно-бледные щеки чуть розовеют.

- Здорово я извозилась, - говорит она, щупая рукой промокшее одеяло. Вот-то незадача, не дай бог отец увидит, что я его можжевеловую в постели разлила. Авось с пьяных глаз ничего и не заметит. Ну и ладно! Будь что будет, а все-таки, Дуду, мне здорово лучше стало.

И тут же надолго замолкает. Нельзя дальше держать дверь открытой, от холода у Мушетты совсем окоченели ноги. Она бежит к люльке, закутывает Гюстава в одеяло и кладет его лицом на тюфячок, пусть себе задохнется от злости. Собака теперь уже просто воет. Но матери, видно, все равно. Можжевеловая попала ей в глаз, и покрасневшее веко судорожно дергается.

- Приложи-ка ухо к моей груди, - шепчет она, - и послушай хорошенько. Я что-то не слышу, бьется сердце или нет.

Голос ее теперь не громче дуновения.

- Смерть моя подходит, это-то уж наверняка, - продолжает она. - Ноги совсем онемели. Не годится, конечно, напившись помирать, - грех это, да, видит бог, никогда я пьяницей не была. Ничего не поделаешь!..

Мушетта слышит слово "смерть", и ей чудится, будто ее изо всех сил толкнули в грудь. Но у нее и впрямь нет времени раздумывать, Гюстав теперь уже. не кричит, он отчаянно вопит, захлебывается. Она снова бросается к его тюфячку.

У братишки полон рот соломы, и она худо ли, хорошо ли вытаскивает ее согнутым указательным пальцем.

- У, крикун проклятый! - шепчет мать и как-то особенно страшно вздыхает.

Одним глазом - другой закрыт, - она в последний раз смотрит на младенца, потом отворачивается.

- Дай мне бутылочку, Дуду! Скажешь, не надо бы? А почему не надо? Будь оно все проклято! Я и так всю жизнь лишала себя удовольствия, так неужто перед смертью не могу себе ничего позволить? Думаешь, мне горько оттого, что я по-

мираю? Всю-то жизнь, смолоду до старости, мной помыкали: "Ворчи не ворчи, все одно, придется, милая, по-моему делать, не то трепку задам!" Вот так-то все мы, такова уж наша судьба. А сегодня, дочка, дам-ка я себе волю.

Левой рукой она рассеянно гладит бутылку, и рука у нее такая белая, что все морщинки и трещинки проступают ярко-черными штрихами, как на чистом листе бумаги, на котором отпечаталась ладонь, вымазанная типографской краской.

- Кто знает, может, я нынче ночью еще не помру? А теперь слушай хорошенько, что я тебе скажу, Мушетта. Пойдешь позовешь доктора. Вот уж сколько дней я прямо сама не своя, хочу, да и только, его видеть, с ним поговорить, не знаю, как бы тебе лучше объяснить, Не в упрек я это говорю, только от вас я, кроме мучений, никогда ничего не видела. А над воспитанными людьми, видишь ли, смеяться не надо! Они совсем другие, чем мы с тобой. Скажешь ему, Мушетта, чтобы заглянул к вечеру, это из-за отца, потому что он - чего доброго - и нагрубить может. Скажешь ему, Мушетта, скажешь, а?

- Да, мам, конечно, пойду и скажу.

- А ты сама, - собравшись с силами, продолжает она, - смотри, как подрастешь, не попадись на

удочку какому пьянице, бездельнику. Есть у них подход к девушкам... Только, видишь ли... Вот возьми, к примеру, мосье Арсена. Слишком ты еще молода, не можешь ты всего понять, но не след твоему отцу с ним компанию водить...

Она вслепую тянет руку к бутылке.

- Один только глоток, только один, бедная ты моя Дуду... Чудится мне, будто внутри у меня все пусто и что стала я не тяжеле пуховой подушки...

Она тихонько, чуть ли не робко, кладет свою заскорузлую ладонь на детскую шейку. Быть может, так хочет она испросить прощения за ласковый свой жест, потому что знает, как удивится ему эта молчаливая девчушка, от которой мать не сумела добиться ни слова сочувствия. С секунду упрямая головенка неприметно противится этой ласке, потом вдруг падает в забытьи на материнскую грудь, словно нет уже у девочки силы сдерживаться, и с губ Мушетты срывается стон усталости.

- Мам, - начинает она, - я вот что хочу тебе сказать...

Но покойница не слышит.

Вернулись они на заре, вдрызг пьяные. Первым заметил свечу, оставленную Мушеттой у изголовья усопшей, самый младший из братьев,

Зефирэн, и, даже еще не поняв, что к чему, машинально стянул с головы каскетку. Соседка, мадам Дюмей, сидела на табуретке в темном углу и молола кофе. В чайнике уже пела закипающая вода. Лежа ничком на тюфяке, спала измученная Мушетта рядом с сдавшимся наконец младенцем.

Они молча напились кофе. Потом Зефирэна отрядили оповестить поселок. Отец, скинув надоевшую ему куртку и оставшись, несмотря на холод, в одной рубашке, курил трубку, присев на единственную ступеньку у поилки, как и обычно в воскресенье по утрам. Маленькие глазки грязно-серого цвета беспрерывно моргают.

- Куда собралась, дочка?

- За молоком для Гюстава.

Он останавливает ее взмахом своей глиняной трубки, и его лоснящиеся щеки становятся кирпично-красными. Хотя во взгляде еще застыло неопределенно-торжественное выражение, как у запойных, но рот кривится смущенной улыбкой, открывающей почерневшие корешки зубов. Мушетта молча разглядывает его. Ни одна черта ее тоненького личика не дрогнет.

- Славная была женщина, - заикаясь, произносит отец, и слова его трудно разобрать среди хрипа и свиста, рвущихся из сожженных алко-

голем легких.

Все так же невозмутимо спокойно глядит на него Мушетта. Кошмары минувшей ночи еще обволакивают ее, подобно густому туману, сквозь который странно искаженными кажутся вещи и лица. Впрочем, в ее взгляде, с таким напряженным вниманием изучающем эту физиономию, даже не поймешь сразу, еще молодую или уже старую, нет прямой неприязни. Правда, что сейчас она не узнает отца. Сейчас, когда с его лица слезло обычное выражение тупого упрямства, а проступило что-то вроде сомнения, смутной тревоги, оно стало похоже на морду сурка. И чем сильнее бедолага старается не сдрейфить перед этим неожиданным свидетелем, доселе просто презренной мошкой, тем сильнее искажаются его вялые черты. Ветер дыбом подымает на затылке кирпично-рыжие волосы.

- Кончишь ли ты наконец на меня пялиться, невежа эдакая? - мямлит он.

По привычке Мушетта все-таки отступает на шаг. Впрочем, ничуть она его не боится. И не желает даже ему отвечать. В душе ее уже рокочет слепо-немой демон, и имя ему: бунт. Впрочем, не слишком ли это громко - "бунт"? Скорее уж какое-то молниеносно возникшее чувство, и,

покорная ему, она поворачивается спиной к прошлому, осмеливается сделать первый шаг, решительный шаг навстречу своей судьбе. Чтобы заговорить, она собирает все свои силенки. И на язык ей наворачивается только ругательство. И она уже раздельно произносит его, но таким грустным, таким грустным голоском, что отец сначала ничего не разбирает. Прежде чем отец открыл рот, девочка распахивает деревянную калитку, и башмаки ее уже стучат по каменистой дороге... Ругательство, самое грубое, которое она знает, но не имеющее сейчас для нее никакого смысла, выражающее лишь ее безысходное, неосознанное отчаяние.

- Дерьмо! - бросает она.

И, бросив, все-таки для верности ускоряет шаг, пока не добирается до вершины холма, откуда уже виден первый дом поселка. Однако ей невыносима даже мысль, вчера еще вполне естественная, что бежит она от побоев. К чувству зарождающейся в ней свободы не примешивается ни капли радости. Девочка понимает, что оно пришло слишком поздно и что ничто уже не спасет ее. Но нет такой силы, чтобы вырвать его из сердца, и она когтями и зубами будет его защищать.

Оторвавшись на минуту от этих мыслей, она оглядывает свое одеяние и пожимает плечами. Да-а! Одежонка! Она забыла надеть кофту, на ней только рубашка и дырявая скверная юбчонка. Кожа на башмаках стала какого-то ржавого цвета, и теперь, когда они высохли, нелепо задрались носки. К тому же волосы у Мушетты в золе, даже на зубах скрипит зола. Сойдет! Подумаешь, грязная, ну так что ж! И нынче утром, если бы не страх, что она не выполнит до конца своего долга, она нарочно бы извалялась в грязи, как свинья. Да, да, прямо бы так и шлепнулась ничком в замерзшую грязь - бросилась бы животом, который до сих пор ноет, так что приходится идти, скрючившись чуть не вдвое.

Вышла она из дома без всякой определенной цели. Вчера мосье Арсен заставил ее выпить спиртного, оно обожгло ее нутро и до сих пор еще жжет... Мосье Арсен! Сейчас он, должно быть, уже далеко! Ей чудится, будто он идет не по настоящей, а по выдуманной ею дороге, идет своим упругим, чуть настороженным шагом и, возможно, с песней на губах. Ведь он все время что-то напевает. Завтра к вечеру он уж непременно перейдет границу, а граница, в представлении Мушетты, это некая таинственная

линия, которую не смеют пересечь ни жандармы, ни таможенники. Бельгийская граница!.. А за ней страна, какую она видит лишь в воображении, сквозь смутные воспоминания раннего детства - плоский край, где взгляд упирается в небосклон и где огромное множество скота, крупные фламандские коровы, такие длинные, что, кажется, они с трудом волочат свой собственный зад, словно какой-то невиданный груз... Край, день и ночь секомый ветром, и под его порывами со скрипом вертятся крылья мельниц - свободный край...

Никогда ей его не увидеть, слишком уж она измучилась. И тот самый гнев, который не сумел обратиться против мосье Арсена, обрушивается теперь на их мерзкий поселок. Особенно же противно ей думать о Мадам. До чего обидно, что нельзя бросить ей в лицо всю правду или хотя бы часть правды, хитро отмеренную, чтобы та взбеленилась от злости, разом заткнуть ей рот: скажем, во вторник на уроке морали, когда она будет клеймить перед всем классом "гнусное преступление, совершенное против верного слуги закона, получившего ранение на поле чести при исполнении своих обязанностей...". Но они все только смеяться будут. Не поверят ей. Или же... Впрочем, что бы она ни сказала, она отныне

может только навредить беглецу, теперь она уже вышла из игры. К чему восставать против собственной судьбы? Вполне достаточно просто ее презирать. Потому что ей осталась только одна роль - роль ребенка, случайно затесавшегося в смертельную схватку двух озверевших мужчин. Преступление, равно как и любовь, отказывается от столь жалкой ноши. Бурливая черная река, подхватившая было ее, минуту протащила по течению, а потом пренебрежительно выбросила на прибрежный песок.

И, однако же... однако, одна она обо всем знает, она одна хранит тайну, которую, возможно, уже стараются по всем дорогам разнюхать жандармы и судья.

Это единственная мысль, что позволяет ей еще держаться среди мрака отчаяния. Само собой разумеется, мысль эта не слишком отчетливо складывается в мозгу, к сатанинской гордыне, внушившей эту мысль, еще примешивается страх. Но впервые в жизни полуосознанный бунт, а он прямое выражение всей ее природной сущности, приобретает хоть какой-то внятный смысл. Она одна, воистину одна - против всех.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С порога бакалейной лавочки тетушка Дерен машет ей рукой. Обычно-то она, как и все прочие, относится к Мушетте неприязненно и высокомерно, ибо считает, что девочка способна "отомстить через скотину", а это в крестьянских глазах преступление непростительное. Но весть о внезапной смерти уже распространилась в поселке и разожгла всеобщее любопытство.

- Значит, так-то оно! Бедная твоя матушка померла, да так сразу! Говорят, ты даже соседку не успела кликнуть: когда она пришла, все уже было кончено. Зайди, выпей чуток кофе.

Мушетта останавливается на низеньком крылечке, потупив голову, и лицо у нее такое замкнутое, что бакалейщица вздыхает и незаметно переглядывается с покупательницей, замешкавшейся у прилавка.

- Заходи же, тебе говорят. Да не стоит, дочка, так убиваться, каждому свой черед! Хорошо хоть она не почувствовала, что помирает... Видать, от аневризмы? Теперь в газетах то и дело об аневризме пишут.

Вид Мушетты явно внушает бакалейщице удивление, не без примеси уважительности. Ну кто бы мог подумать, что такая дикарка способна по-настоящему горевать? Да и покойница терпением не отличалась.

Но Мушетте плевать на то, что ее разглядывают с любопытством. Аромат горячего кофе убил в ней все чувства и даже все мысли. От этого аромата у нее слезы проступают на глазах.

Бакалейщица пододвигает к ней корзину с рогаликами. Правда, рогалики позавчерашние, потому что подручный булочника по воскресеньям разносит товар только после второй, поздней мессы. Ну да ладно! Рука Мушетты, макающая редкостное лакомство в горячий кофе, дрожит. Нервная разрядка так сильна, что мало-помалу девочка теряет выдержку, она ест и рыдает одновременно, лицо ее в клубах благоуханного пара, а хрупкое тельце собралось в комок, настоящий котенок перед блюдцем сливок.

Бакалейщица сует четвертый рогалик в дрожащие пальцы. Мушетта машинально кладет его в карман. Положив локти на стол, она сидит с задумчивым видом, но на самом деле не думает ни о чем. Даже у прилавка из светлого дуба какой-то особенно аппетитный вид, так и хочется

его лизнуть. До ее слуха доносится приглушенный разговор хозяйки с покупательницей, но он кажется ей лишь бормотаньем, лишь мурлыкающим продолжением собственного сна. Чтобы выйти из тупика этих смутных сновидений, ей нужно, чтобы настала, чтобы длилась тишина. Она подымает на двух женщин свой обычный взгляд, недоверчиво-хитрый. И смотрит на них так свирепо, что обе невольно опускают глаза.

Сквозь незастегнутую прореху рубашки видна обнаженная грудь Мушетты и отчетливо вырисовываются синяки. Они еще не успели полиловеть; на смуглой коже они проступают багровыми пятнами, а полукружья от впивавшихся в тело ногтей - алыми. Конечно, всем отлично известно, что ее папаша скор на расправу. Но вот эти синяки, это уж нечто совсем другое, это уж зловещий знак. На полудетской еще груди они начертали всю ее вчерашнюю историю, и наметанный взгляд деревенских кумушек сразу разгадал ее тайный смысл.

Первое побуждение Мушетты - запахнуть ворот рубашки. Напрасный труд! Полотно потерпело вчера еще больший урон, нежели кожа, и слишком нетерпеливые пальцы лишь довершают начатое - материя окончательно разлезается.

Обе женщины еще колеблются: возможно, одно слово, улыбка могли бы еще предотвратить грозу, но девочка не в силах выдавить из себя ни слова, ни улыбки. Да и невольное ее движение с головой выдает ее. Потому что она вскакивает со стула одним прыжком, как застигнутый врасплох зверек. На беду, стул ударяется о ножку стола, и недопитая чашка грохается на плитки пола.

- Чего это тебя разбирает? - свистящим голосом спрашивает бакалейщица. - Теперь ты мои чашки бить начала! Вот уж и вправду дикарка.

Складка стыда и гнева причудливой чертой перерезает лоб Мушетты. Густо зарумянившееся лицо изобличает ее так явно, как не могло бы изобличить прямое признание. Она бочком продвигается к двери.

- У, шлюшка! - цедит сквозь зубы бакалейщица. - А я-то еще ее пожалела. Вот уж правду говорят: "Как волка ни корми, он все в лес смотрит".

Впрочем, Мушетта ее не слышит, она уже на улице, уже бредет к поселку неверной походкой; ноги словно одеревенели, и каждый шаг отдается в животе мучительной болью. Пускай бакалейщица визжит себе на здоровье, пусть ругается, ей плевать! И снова все ее страхи, весь ее гнев обращаются уже против себя самой, это себя она

ненавидит. За что? Какую такую ошибку она совершила? Увы! Она и впрямь совершила ошибку. Любые угрызения совести и в счет не идут по сравнению со стыдом, который подтачивает ее изнутри и которому она, не привыкшая связно мыслить, никак не сумела бы найти разумного объяснения, ибо слепой этот стыд был самой ее плотью и кровью. Не замедляя шага, она сжимает обе руки на своей истерзанной груди, потихоньку, но яростно бьет по ней, будто хочет убить.

Так добирается она до церковной площади. Тут только она замечает, что прихрамывает. Двое мальчуганов - сыновья пивовара - возятся у порога дома; никогда они не пропускают случая при виде Мушетты во всю глотку пустить ей вслед кличку "крысомордая", но нынче оба молчат, смотрят на нее, жмутся друг к дружке... Колокол созывает верующих к ранней мессе. Мушетта идет, все так же ковыляя. Только сейчас она догадывается, зачем вышла из дома и куда держит путь, так как всю дорогу шла будто лунатик. Чуть в стороне от последних домишек поселка, там, где тропка, ведущая в поля и обнесенная живой изгородью, идет под уклон, стоит дом мосье Матье, дом кирпичный, новенький, а рядом еще сарайчик и погреб.

Нет, не простое любопытство привело сюда Мушетту. Даже в этом состоянии полного разброда мыслей она отлично понимает, что в такой день, как сегодня, она может спокойно расспрашивать любого о событиях минувшей ночи, ничем не рискуя себя выдать.

Пока усопшую не предадут земле, она принадлежит всему поселку, всей их общине, которую объединили вокруг ее останков почтительный страх, полумистическая сопричастность. В поселке всего один мэр, всего один кюре и всего одна покойница. Поэтому-то дочь ее должна воспользоваться этими несколькими днями, своего рода привилегией, даваемой смертью, что молча признают все жители. Нет, та сила, которая влечет Мушетту к дому стражника Матье, сродни силе, бунтующей в ее душе против себя самой. Повинуется она все тому же, точно установленному, неумолимому закону тяготения, подчиняясь которому падает тело, ибо иное отчаяние в своем падении тоже не может избежать ускорения. Отныне ничто не в силах ее удержать: она до дна выпьет чашу своей беды.

Одно лишь ее удивляет: в поселке царит спокойствие - просто обычное воскресное утро, такое же, как и всегда по праздникам; слышится еле

уловимый веселый гул, жужжание пчелиного роя, откуда вырвется вдруг головокружительный напев колоколов. Сначала Мушетта не обратила на это внимания: столь велико внутреннее ее смятение, что действительность предстает ей в искаженном виде. Но мало-помалу она начинает понимать - в этом спокойствии есть какая-то странность, ведь об убийстве стражника было бы известно. Этот покой не несет в себе надежды, напротив, она воспринимает его как зловещее предзнаменование. Словно весь поселок, тайный ее неприятель, распахивается перед ней, все ширит вокруг нее зону предательской тишины.

Так добирается она до дорожки. Смутно она догадывается о том, сколь безумен, сколь неосторожен ее шаг, но сейчас отступать уже слишком поздно. Перенапряженная воля способна лишь на прямой вызов, так загнанный зверь из последних своих сил несется судорожными скачками впереди настигающей его своры собак, прежде чем свалиться на бок и испустить дух. Однако когда рука уже тянется к деревянной щеколде, мужество покидает Мушетту. Калитка сбита из широких дранок, между ними оставлены лишь узенькие просветы. Она стоит перед этой калиткой, стараясь отдышаться, унять биение сердца.

Взмокшие от пота ладони бросают на выкрашенную в зеленый цвет дранку густую тень, и контуры ее все растут.

По-прежнему звонят к ранней мессе. И вдруг... Мосье Матье вовсе не убит, даже не ранен. Он как раз подходит к окошку в одной рубахе, на физиономии мыльная пена. Конечно, он уже минуту-другую следил за Мушеттой из окна, потому что сразу же ее окликает, и голос у него самый страшный для нее из всех голосов в мире, этот голос верного служаки великой армии закона разом пробуждает в ее душе детские страхи, голос, похожий на тот, которым вещает петрушка на ярмарке, вроде бы добродушный, а на самом деле металлический.

- Что ты здесь поделываешь, паразитка?

Она не отвечает, но нет у нее мужества и бежать отсюда.

- Удачно явилась, - продолжает стражник. - Нам с тобой потолковать надо. Иди-ка сюда, я тебе худого не сделаю.

Он отходит от окошка и тут же появляется на пороге, загораживая весь проем двери могучими плечами. Мушетта медленно взбирается на крыльцо. На шум из кухни выходит мадам Матье, рыжие ее волосы разбросаны по плечам.

- Да не мучь ты ребенка! Послушай, Камилл, ведь сегодня у нее мать померла!

О, чудо! Мушетта потихоньку, как заводная кукла, вскарабкивается на крыльцо, останавливается как раз рядом с молодой женщиной и утыкается лбом в синий фартук. Движение бессознательное - так спящий во сне переворачивается на другой бок. Мадам Матье ласково проводит рукой по непокорной головенке, берет в ладони ее лицо, с силой поворачивает к себе. Черты Мушетты застыли в такой жестокой гримасе, что жена Матье не может сдержать удивленного крика, чуть ли не крика отвращения. А как же иначе! Она единственная дочка служащего Амьенского почтамта, всю жизнь прожила в городе, и слово "дикарь" вызывает в ее представлении лишь образ белозубого негра из джаз-банда, только абсолютно голого и в носу у него бронзовое кольцо.

- Слушай хорошенько, - говорит стражник подозрительно мягким тоном. Знаешь Арсена? Чудесно. Так вот. Мы с ним вчера поцапались из-за капкана, ничего особенного, так, пустяки. Он был пьян - таким пьяным я еще ни разу его не видывал, а пить он, ничего не скажешь, мастак. Словом, мы с ним немного схлестнулись, поняла? Так сказать, по частному вопросу. Впрочем, это

никого не касается. Только нынче на рассвете стражники Тиффожа его забрали. Обвиняют его в том, что он глушил динамитом рыбу на протяжении целых одиннадцати километров, вместе с молодчиками из Булони; они-то и увезли весь улов на большом грузовике, так что жандармы на мотоцикле минут двадцать, если не больше, за ними гнались и не смогли догнать.

Ясно, Арсен улизнул от них, но один стражник - его Шове звать - вроде бы его признал. Схватили они его только часа через два в пятнадцати километрах отсюда, вот мне и хочется узнать, может, этот чертов малый правду говорит. Он заявил жандармам, будто бы встретил тебя нынче ночью у Паланса. Если это правда...

- Это правда, - подтверждает Мушетта непривычно вежливым голоском. Правда, мосье.

Стражник раскатисто хохочет.

- А ты, видать, не из хитрых, - говорит он. - Признайся-ка лучше, что ты нынче утром встретила Арсена. Он нарочно сделал крюк, чтобы с тобой увидеться и обеспечить себе алиби. Иначе зачем бы ты сюда явилась? Ты ведь не часто ко мне в гости ходишь, артистка ты эдакая!

Не так сами слова, как издевательский тон стражника сбивает Мушетту с толку. Она до того

не привыкла к иронии, что когда ей случается слышать иронически произнесенное слово, оно звучит будто на чужом языке и не так злит, как пугает.

- Или твой отец с ним виделся. Потому что Арсен слишком хитрая бестия и не послал бы тебя сюда, что называется, прямо волку в пасть.

- Да оставь ты ее, - кричит жена из кухни. - Не видишь, что ли, девочка сейчас в обморок упадет?

И опять она подходит к девочке, но та медленно отступает и прислоняется к стене. Участливый голос вызывает в ней чисто физическое волнение, против которого она бессильна.

- Зря ты вмешиваешься, - пожимает плечами стражник. - Я ей зла не желаю, но ты только взгляни, какие у нее глазищи. Ну чисто дикая кошка!

- Я видела мосье Арсена нынче ночью, - продолжает Мушетта. - Вот как вас вижу, мосье Матье.

- А где ты этого самого Арсена видела?

- В его хижине в Мурейском лесу.

- А что ты, дуреха, в его хижине делала?

- Я спряталась там от цикл... от дождя...

- С чего это ты такая неженка стала, смотри-ка, пустякового дождика испугалась.

- Это мосье Арсен меня туда привел, - помолчав, поясняет она.

И сразу же спохватывается; сквозь полуопущенные ресницы она замечает, что стражник с женой при этих словах переглянулись. Кровь бросается ей в лицо.

- А откуда ты шла, когда он тебя туда привел? Только уж, пожалуйста, не ври.

- Из школы.

- Из школы? Значит, ты из школы, хитрюга, ночью уходишь?

- Не совсем еще ночью, - возражает Мушетта, и голос ее пресекается. - Я в лесу сначала пряталась. А он, мосье Арсен то есть, шел из Сюрвиля, как он мне сказал.

- Что он тебе мог путного сказать? Он тогда лыка не вязал. Пьян был в дымину.

- Нет, мосье, он не шатался.

- Дуреха! Да разве ты не знаешь, что от первой капли он прямо безумеет? Но что верно, то верно - не шатается, даже когда вылакает литр можжевеловой, идет себе прямохонько, ну прямо тебе кюре во главе процессии, в праздник тела господня. Ну, так что ж он тебе такого сказал?

- Сказал, что вы подрались с ним из-за капкана. И что вы тоже, простите на слове, мосье Матье, тоже были пьяный.

- Ах ты, негодница! - принужденно смеется

стражник. - Ну да ладно, продолжай, не бойся. Значит, вышла ты из школы, спряталась в хижине Арсена, дождик лил до полуночи. Надо полагать, ты все-таки вернулась домой? Если даже ты все это не навыдумывала, почему бы нашему Арсену не заглянуть в Тиффож, посмотреть, как солнышко восходит? Жандармам ведь больше ничего и не нужно.

- Домой я вернулась только на рассвете, мосье Матье, я там почти всю ночь оставалась.

Во рту у нее пересохло, язык стал совсем шершавый, так что последние слова переходят в хриплый неразборчивый шепот. Она совсем забыла, что браконьер не совершил никакого преступления, а все выдумал, как выдумал про циклон, что сейчас речь идет о самом заурядном деле, просто об очередном браконьерстве, за такие дела красавца нарушителя уже десятки раз таскали по всем судам их провинции.

- Ночью? Значит, ты всю ночь провела у Арсена в хижине? Ладно, дочка, мне сдается, что для девочки твоих лет ты не слишком-то хорошо отдаешь себе отчет в собственных словах. Всю ночь, ах ты, шутница!

Но смех его тут же стихает - жена кладет ему на губы палец.

- Да замолчи ты наконец, - говорит она. - Тоже мне ловкач нашелся!

С этими словами она вдруг подходит к Мушетте, обнимает ее за талию и, так как она на целую голову выше девочки, становится на колени, чтобы удобнее было заглянуть ей в лицо.

- Так я и знала, - говорит она. - Понюхай-ка сам, Матье. От бедняжки до сих пор можжевеловой разит. Ясно, этот подонок ее напоил!

Но Мушетта уже успевает отпрыгнуть на шаг назад.

- Лучше признавайся, - ласково продолжает женщина. - Все мужчины скоты. Как только ты к нам вошла, я сразу догадалась, что ты не дома ночевала, до сих пор в волосах полно сосновых иголок. И насчет можжевеловой тоже все ясно, даже нюхать не надо, у тебя до сих пор взгляд блуждающий. Я-то сразу поверила, что ты правду говоришь. Только ты не всю правду сказала. Выйди-ка отсюда, Матье, оставь нас одних.

- Не уходите, мосье Матье!

Крик этот невольно срывается с губ Мушетты, она сама не понимает, почему она крикнула, но в голосе ее звучит ужас при одной только мысли остаться с глазу на глаз, без свидетелей, с этой женщиной, чья жалость пробуждает в ней тот

тайный стыд, который женщина испытывает только в присутствии другой женщины, и в диком неистовстве этого чувства, впрочем редко встречающемся, есть что-то священное.

Мосье Матье, направившийся было к двери, оборачивается. Уж на что он толстокож, этот стражник, но и его пронял этот крик. Он с нескрываемым смятением, весь побагровев, глядит на Мушетту. Путь к бегству ей теперь отрезан: отскочив от жены стражника, Мушетта очутилась еще дальше от двери, на которую она украдкой с отчаянием поглядывает. Голова ее откинута назад, и видна тоненькая, тоненькая шейка, на которой бурно, как сердце, бьется артерия.

- Дай ей пройти, - говорит стражник. - Она совсем ума решилась. Ты только взгляни, как у нее руки трясутся.

- Не болтай зря. У меня вся кровь в жилах стынет при одной мысли, что этот мерзавец... Да что с тобой разговаривать! Если его пес несчастного зайчонка схватит, ты ему пощады не дашь, а тебе не важно знать, не напоил ли он эту девчушку для того, чтобы...

- Не мели чепухи. Меня такие свинства не касаются. А вот зайцы - это уж по моей части. И потом, надеюсь, жандармы знают свое дело. Пусть отец

и подает жалобу.

- Отец? Ты что, юродивый, что ли, если его отцом называешь? Да поднеси ему стакан рома, он с радостью родную дочь продаст. Слушай меня, Мушетта. Сегодня я не хочу растравлять тебя своими расспросами, ты и так совсем разнервничалась. Но если ты заглянешь ко мне завтра, даю тебе слово честной женщины, ты получишь десять франков за беспокойство и будешь мне отвечать, если тебе угодно, а если нет - я настаивать не стану, ты свободна.

Лицо Мушетты поначалу не выражает ровно ничего, она с умыслом надела на себя маску глубочайшего равнодушия. А на самом-то деле она старается незаметно добраться до дверей. И чтобы скрыть свой замысел, она даже не вздрагивает, когда стражник ласково, да, да, ласково треплет ее по щеке. Впрочем, из всех этих разговоров она уловила лишь одно - над мосье Арсеном нависла новая угроза.

Все, что в душе многих поколений бедняков накопилось бунтарского, животного, нерассуждающего, подступает, в буквальном смысле слова подступает к ее губам, потому что ей чудится, будто язык смочен не слюной, будто весь рот забит какой-то едкой, обжигающей жижей с при-

вкусом желчи. Но когда она переступает порог, когда чувствует на лбу, на щеках, всем своим полуобнаженным телом, которому не защита легкая одежонка, укусы ледяного ветра - дар речи внезапно возвращается к ней. С губ ее рвутся слова вызова, вместо брани, но бросит ли она им вызов или чертыхнется - разница невелика. Самое безобидное слово отдалось бы с одинаковой силой в ее груди, так как ей мерещится, будто она окутана покровом тишины. И, даже прежде чем услышать собственную речь, она чувствует, как в гортани вибрирует каждый звук, точно в медном колоколе.

- Мосье Арсен - мой любовник, - заявляет она напыщенным тоном, что производит комичное впечатление. - Спросите его, если вам угодно, он вам ответит.

Одним прыжком она соскакивает с крыльца, но на последней ступеньке спохватывается и медленно, степенно идет тропкой, стараясь ступать большими своими, не по ноге, башмаками как раз по колее, чтобы не поскользнуться. Хотя в ушах стоит трезвон, крепнущий с каждой минутой, так что даже голова начинает кружиться и уже трудно сохранять равновесие, она все-таки слышит голос стражника за закрытой дверью;

- Вернуть ее или нет, как по-твоему? Если считаешь нужным, пойди завтра поговори с мэром.

Только когда она снова бредет поселком, в голову ей приходит одна мысль. Она добирается до дома Дарделя. Никто ее, по-видимому, не видел. Час, предшествующий поздней мессе, как и в давние времена, считается часом благоговейной сосредоточенности. Нужны века и века, чтобы изменился ритм жизни французской деревни. "Люди готовятся", - говорят крестьяне, и этим объясняется тишина на безлюдной главной улице. А к чему, в сущности, готовятся? Ибо никто уже не ходит к поздней мессе. Не важно. Ровно в девять отец обязательно достанет сорочку с туго накрахмаленной грудью и, путаясь в полотне, которое никак не желает разлепляться, а только странно шуршит, станет клясть всех и вся. И мать, чистившая на суп овощи, тоже заботливо разложит на постели чулки и черную шерстяную юбку в широкую складку.

Дом Дарделя, называвшийся так по имени бывшего его владельца уже лет десять как отошел к старой служанке маркиза де Кланпэн. Дряхлая, разбитая параличом, так что и передвигаться она может только с помощью двух палок черного дерева с серебряными ручками - дар покойного

маркиза, она все равно ходит по больным, но главная ее специальность бодрствовать при покойниках.

Как только раздастся погребальный звон - иногда даже звонит она сама, правда, в самый маленький из трех колоколов: положит костыльки на землю, и все ее тощее тельце, легче, чем у пятилетнего ребенка, раскачивается вслед за веревкой, - едва раздается похоронный звон, родные усопшего уже ждут, когда проковыляет по плитам пола тощенькая старушка, но ждать им приходится недолго. Не обращая внимания на приглушенный шепот, сопровождающий ее появление, она пройдет прямо к ложу, где покоится мертвец, и все замечают, что веки она держит опущенными, как будто бережет силы или хранит про себя некую радость.

Осенив себя крестным знамением, она положит в уголок свою огромную суконную сумку, где хранятся ее запасы - бутылка горячего кофе, сдобренного капелькой рома, медная грелка с полагающимися к ней брикетами и ломоть хлеба с маслом, аккуратно завернутый в белоснежно-белый платочек. Тогда только она согласится присесть у очага и начнет задавать вопросы, всегда одни и те же, на которые подчас сама и

отвечает, так что даже наиболее болтливые, даже те, кому не терпится сообщить такому непревзойденному знатоку все страшные подробности кончины, которым они были первыми свидетельницами, и те слушают, цепенея от какой-то смутной боязни, как ведет странный монолог эта старушка с кроткой улыбкой, с выцветшими голубыми глазами. Так она и сидит, то дремлет, то снова пускается в разговоры, ласкает детишек и раздает им леденцы, которые вытаскивает из своего поместительного кармана, до того липкие, что, прежде чем вручить леденец ребенку, она, бывает, оближет его для чистоты.

Вплоть до вечера она как бы не замечает, что в комнате лежит покойник, что вокруг тела толпятся соседи и соседки. Но стоит только стемнеть, стоит только соседкам покинуть мрачное обиталище смерти, стоит только семье сесть за стол, где уже дымится миска с похлебкой, и каждый сотрапезник вздохнет, коротко, глубоко, словно бы извиняясь в простоте душевной: "Ничего не поделаешь, ведь надо же немножко подкрепиться, правда ведь?", - как она тут же поднимается с места и просеменит в угол, где покойник. Все отвращают взгляды, когда она проходит по комнате, исчезая в темноте, ее хилое тельце нелепо

болтается меж двух бесшумных костыликов (они снабжены резиновыми наконечниками) - так на гребне волны покачивается утлое суденышко.

Часы и часы проведет она у изголовья усопшего, не спуская с него внимательных глаз. Ни одна складочка простыни не ускользнет от бдительного ее взгляда, тут же она расправит ее своими тощими пальцами, царапая материю непомерно длинными ногтями. А если случайная муха присядет на чело усопшего, она не поленится согнать ее, еще аккуратнее натянет носовой платок, которым накрыла лицо покойного перед началом своего ночного бдения,- все тот же белый носовой платок, лишь чуть пожелтевший от бесконечных стирок. Хотя она не прочь прослыть набожной (иногда она добровольно выполняет в церкви обязанности ризничего), не похоже, чтоб она молилась, по крайней мере никто никогда и не видел, чтобы она шевелила губами, напротив, они крепко сжаты в гримасе предельного внимания. Но зато ничто и не в силах оторвать ее от этого таинственного бдения, ни отвлечь от созерцания, тайна которого ведома лишь ей одной.

Если погребальная свеча стоит слишком далеко, она не забудет ее придвинуть, чтобы та светила прямо в это, словно бы высеченное из

камня, лицо ее мрачного компаньона, тоже погруженного в бездонное раздумье. По общему мнению, она дремлет с широко открытыми глазами; такое часто случается - уверяют люди - с древними старухами. Правда и то, что в течение ночи она редко ответит на обращенный к ней вопрос, и, однако, никто не осмелится повторить его дважды, глядя в эти линялые зрачки, где пляшет узенький огонек свечки. Быть может, люди боятся разбудить одновременно и мертвеца, и его стража.

Когда начнут перекликаться петухи, когда начнет бледнеть огонек свечки, она, забившаяся в уголок глубокого кресла, делается словно бы еще меньше. Иногда даже поставит острые локти на край постели и вся уйдет в последнее созерцание, точно надеясь, что серенький отблеск зари откроет ей нечто, что она тщетно ищет уже годы и годы. Мало-помалу пробуждается дом, хлопают двери хлева, встряхивается после сна скотина, позвякивая цепями; люди, переговаривавшиеся полушепотом, начинают говорить полным голосом, как и в обычные дни, с трудом скрывая свою радость перед наступившим утром, неодолимую для крестьянского сердца радость. Тут только она притворится, что спит, уткнет подбородок в грудь,

спрячет руки под шерстяной косынкой. Подымется она, лишь когда окончательно рассветет, при шумной суматохе первой трапезы. Бледное ее лицо выражает усталость, незнакомую деревенскому люду, потому что это не физическая усталость, даже не та, что оставляет после себя бессонная ночь. Но особенно стесняет их взгляд ее тусклых глаз, настолько всего наглядевшихся, что кажутся они незрячими. А она как бы не замечает смущения окружающих, соглашается выпить чашечку кофе и прихлебывает его стоя, прислонясь спиной к стенке, раздает остатки своих леденцов ребятишкам, собирающимся в школу, и уходит, освещенная светом нового дня, исчезает за поворотом еще не хоженной с утра, позолоченной лучами зари дороги, оставляя после себя в пыли странный извилистый след. А на пороге дома хозяйку уже ждет кошка.

- Нынче вечером приду к вам, просижу ночь у покойницы, бедняжечка Мушетта.

Не желая проходить мимо широко открытых дверей кабачка, стоявшего на противоположной стороне, Мушетта круто свернула вправо. И тут-то она и столкнулась лицом к лицу со старухой-ризничей.

- Если вам угодно, приходите, делайте, как знае-

те, - отзывается Мушетта не слишком уверенным тоном.

Взгляд линялых голубых глаз впивается в Мушетту с выражением неодолимого любопытства, сочувствия, какого-то смутного, непонятного сообщничества.

- Заходи, заходи, - негромко, но настойчиво добавляет старушка.

Только потому Мушетта и послушалась, что она и впрямь уже совсем выбилась из сил. Устало опускается она на стул, стоящий возле пустого очага. От красных каменных, тщательно натертых плиток пола идет запах воска и кислых яблок. В зеркале бельевого шкафа, ставшего от старости цвета черного дерева, она смутно различает свое отражение.

Старуха садится напротив Мушетты, она молчит. Стенные часы, где на самой верхушке футляра водружен петушок из позолоченной бронзы, стучат медленно, весомо, и при каждом размахе медного маятника на стену ложится светлый блик. С минуту Мушетта пытается еще бороться против этой тишины, но уже слишком поздно - тишина взбухает, обволакивает, и ей чудится, будто лоб, плечи окутаны каким-то невидимым глазу покровом. Скинуть бы его, избавиться от

него ценою любых усилий, потому что оно давит, как настоящее, и, однако, у Мушетты нет сил даже шевельнуться. И в ту самую минуту, когда она отказывается от борьбы, когда ее вот-вот с головой захлестнет тишина, до нее доносится старческий голос, как бы продолжающий уже начатую фразу:

- Ты, детка, что-то не в себе. Передохни малость, красавица моя, посиди здесь.

- Нет,- не соглашается Мушетта, - мне домой надо.

- Да разве ты сейчас дойдешь, где там! Тебя же ноги не держат.

И снова наступает тишина, но сейчас Мушетта уже покоряется, не борется с ней, напротив. Со всего размаху она бросается в ее пучину, чувствуя, что тело ее охватывает какой-то трепет, чуть ли даже не трепет счастья.

- Ты совершила недоброе, - продолжает старушка. - У тебя в глазах зло. На рассвете ты прошла мимо, я тебя увидела в окошко и сразу подумала: "Вот девочка, совершившая недоброе".

Тишина. С незнакомым ей раньше чувством удовольствия прислушивается Мушетта к тиканью часов, потому что слишком редко мечты ее бывают такими расплывчатыми, такими смутны-

ми, так похожи на сон. Впрочем, это и не совсем мечты. Образы, проходящие перед внутренним оком, столь неясны, что ей не удается отделить их друг от друга, она воспринимает лишь их ритмическое, неестественно замедленное чередование. Такие вот минуты, предвестники нерушимого покоя, минуты, медлящие где-то на рубеже сна и смерти, уже почти не принадлежат живой жизни.

- Послушай-ка, - продолжает старуха, - вот уже несколько месяцев, я, как это ни странно, о тебе думаю. Поэтому-то я тебя так хорошо и знаю. Началось это еще с прошлого года, вскоре после Иванова дня, помнишь? Я тогда тебе еще яблоко дала.

Мушетта помнит, но даже движением век не показывает, что помнит. До сегодняшнего дня она никогда никому не открывала своей души - в буквальном смысле этого слова - и тот порыв, что бросил ее несколько часов назад к изголовью уже умершей матери, был первым и единственным. Она смутно догадывается, что будет он и последним, что в самом истоке иссяк таинственный ручеек.

Впрочем, тайна ее не из тех, что можно поверить людям, - слишком в ней много всего

переплелось, слишком многое к ней примешалось; она подобна хилому с виду растеньицу, и, однако, когда вырываешь его, то на корнях остается комочек питавшей его земли. Но она ничего не сделает, чтобы стряхнуть с себя эту непривычную истому, целиком завладевшую ею; и она, эта истома, прилежно и терпеливо оплетает ее нитями невидимой паутины.

- Если я с тобой раньше не поговорила, так только потому, что время еще не пришло. Все приходит в свое время. К чему, ну скажи сама, пытаться остановить коня, когда он брыкается, норовит укусить? Вот когда он устанет, уходится, вот тогда-то и пришло время сказать ему ласковое словечко, надеть на него узду. Животные ли, люди ли, немного, поверь, найдется таких, что устоят перед добрым словом, нужным словом. На беду, люди говорят слишком много. Столько говорят, говорят столько, что в один прекрасный день слова всю силу свою теряют, превращаются в пыль, в полову.

Она подходит к огромному платяному шкафу, открывает дверцу, и комнату наполняет теплый аромат вербены. Все полки сверху донизу битком набиты белоснежным бельем, но сейчас, когда на него падает отблеск отполированной временем

дверцы, оно принимает неуловимый нежно-золотистый оттенок. И в комнате с единственным окном, затянутым шторой, как бы возникает еще один источник света, немыслимо мягкого. Ах, какая женщина, подобная Мушетте, хоть раз в жизни не мечтала о таких сокровищах?! При любых других обстоятельствах ее восторженное остолбенение быстро сменилось бы злостью, но сейчас она и впрямь слишком измучена. Она вдыхает этот незнакомый аромат, ей чудится, будто ладони ее ощущают ласковое прикосновение этих светоносных тканей, их прохладную свежесть.

- В день смерти матери нельзя возвращаться домой в таком виде, как у тебя. Такой день надо чтить. Поверь мне, детка, это великий день. Ты хоть раз думала о смерти, а?

Мушетта молчит. Она по-прежнему не сводит глаз со шкафа. И внезапно мысль о смерти сливается с образом этих стопок беспорочно белого белья.

- Я-то знаю толк в смерти, - доверительным тоном продолжает загадочная ее собеседница. - И в мертвых толк знаю. В твои годы я боялась мертвецов. А теперь я с ними беседую - конечно, это только так говорится, что беседую, и они мне

отвечают, по-своему, но отвечают. Похоже на шепот, скорее даже на легкое дуновение, идущее из недр земли.

Как-то я попыталась объяснить это нашему кюре, но он меня разбранил. По его представлению, мертвые на небесах... Сама понимаешь, я не стала ему перечить, но от своих мыслей не отреклась. Раньше, в давние времена, мертвых, говорят, почитали, да что там, обожествляли! Видишь ли, дочка, это должно было бы быть самой настоящей религией. Все живое - это одна грязь и смрад. Ты скажешь, что покойники тоже не слишком-то хорошо пахнут. Кто ж спорит? Когда сидр бродит, от него тоже разит коровьей мочой. А смерть, как и сидр, должна сначала перебродить.

Она семенит в угол комнаты, кладет на постель большой сверток, аккуратно завернутый в салфетку.

- Если бы я все это людям рассказала (вынимая булавки, которыми сколота салфетка, она одну за другой зажимает их губами), они бы мне в лицо расхохотались... Да ты сама... Признайся-ка, что ты тоже, если бы не такой день, мне вслед гримасы бы строила. Только сегодня твое сердечко спит. И постарайся, дочка, не разбудить его до срока. Это лучшие минуты в жизни. Я-то ничем

не могу помочь людям, которые по-настоящему проснулись, у таких злоба всегда начеку. Лучше уж сунуть руку в барсучью нору. Когда ты сегодня утром в первый раз прошла мимо моего дома, - помнишь? - ты вдруг остановилась посреди дороги. Все твое личико спало, а вот глаза не спали. А когда я тебя во второй раз увидела, и глаза твои тоже спали. К чему ее будить, - вот что я про себя подумала. Ведь она уже испила свою чашу горечи, разве нет?

Последние слова она таинственно шепчет прямо в ухо Мушетте, и та решается наконец приподнять склоненную голову, взглянуть на свою собеседницу.

- Я знаю, ты меня поняла,- произносит старуха, и морщинистые ее щеки розовеют. - Бьюсь об заклад, что у вас дома даже простыни нет для погребения! Прямо жалость смотреть, как здесь покойников обряжают. Подумай только, ведь до рождества Христова их умащивали душистыми маслами благовониями зовутся, - да это целое состояние стоило. А теперь покойников даже не обмывают. Да что говорить, самого маркиза и того похоронили не побривши, с грязными ногтями. Если бы они, дочка, смели, они бы покойников сразу в гроб запихивали, и кюре еще

похвалил бы их. Что толку, что он ходит вокруг гроба, да кропит его святой водой, да ладаном кадит! Все равно он мертвецов бренной оболочкой обзывает - так вот ты могла бы про пустую сумку сказать! Горе-то какое! А с усопшим надо обращаться бережнее, чем с невестой, лелеять его, прихорашивать, прежде чем он отыдет в землю, где и очистится.

В выцветших ее глазах зажегся огонек: теперь они совсем как два подснежника. Мушетта смотрит на нее, разинув от удивления рот. Ясное дело, старуха упивается одной лишь ей ведомыми картинами. Какое-то пугающее простодушие слышалось в звуках ее голоса, залегло во всех ее чертах, застыло в улыбке.

- Отнесу простыню, самую свою лучшую простыню. Мы вместе ее, детка, и обрядим. А сделаю я это для вас, потому что ты слушаешь меня и не смеешься. Люблю я юность. Надо тебе сказать, что я родом не отсюда, ты даже никогда про такой край и не слыхала. Горный край. В нашей деревне как кончится осень, так солнца больше и не увидишь. Встает оно слева, заходит справа, и даже не может высоко в небо подняться и показать людям свою круглую дурацкую физиономию.

А зимой из-за морозов земля такая твердая ста-

новится, что мертвых не закапывают: поставят гроб в пустой сарай, до весны покойнику ничего не сделается - на холоде промерзает. Ты только представь себе, кладбище было как раз против нашего дома, там и церковь стояла, самая обыкновенная, наполовину каменная, наполовину дощатая. А так как дорога туда не слишком-то хорошая - вечно обвалы да лавины, - кюре по полгода к нам не подымался; вместо него по воскресеньям ризничий Евангелие читал, ничего не поделаешь! Места у нас мало, кладбище разместили на площадке, а стены площадки уходили отвесно вниз на сотню метров. Кладбище крохотное, величиной с ладонь, зато ты и вообразить себе не можешь, до чего же прелестное. Я ночью вставала им полюбоваться. Даже без луны можно было различить кресты.

Говорила она монотонно, не повышая голоса, но слова срывались с ее губ все быстрее и быстрее. Мушетте невольно припомнились маленькие мельнички те, что мальчишки вырезали из дерева. Как раз одна такая мельничка осталась у них за домом, забытая еще с лета, я, хотя вода широко разлилась, было слышно круглые сутки ее пчелиное жужжание, заглушавшее даже торопливый плеск ручья.

- На, держи, - продолжала старуха. - В знак нашей дружбы я подарю тебе хорошую простыню тонкого полотна. Даже не все богачи уходят в мир иной в таких нарядах; родня старается всячески изловчиться, лишь бы похуже! И для тебя у меня есть неплохой сюрприз...

Она взяла с постели уже развязанный сверток.

- Это память, - шепчет она. - Если сердце тебе подскажет, будет во что одеться. По-моему, все твоего размера. Одна беда - цвет неподходящий: только белое да голубое. Потому что, видишь ли, покойнице еще пятнадцати не исполнилось, а она уже приняла обет.

- Какой обет? - удивляется девочка. - Что это значит - "обет"?

- Обет, который ее мать дала. Ее мать была дочерью покойного мосье Тревена, владельца прядильной фабрики в Рубе, первейшего богача. Он купил замок Тремолан в двадцати лье отсюда. Летом я там у них служила. Надо тебе сказать, что до тридцати лет здоровье у меня было слабое. Худющая, желтая какая-то, да еще изо рта у меня дурно пахло - все парни меня на смех подымали! Ну и ладно! Малышка только со мной хотела играть, и дедушка не возражал. Впрочем, играть - это только так говорится, на самом-то деле она

любила лишь читать да разговаривать. Все о своих книгах рассказывала. Я, признаться, не особенно-то соображала, о чем она болтает, но зато какое удовольствие было на нее глядеть. Ох, теперь-то я знаю, что не следует гордиться внешностью, столько я нагляделась на молодых красивых покойниц. Кто нас с ней вместе видел, сразу бы решил, что я не жилица на этом свете, такая я была тощая, прямо как галка.

Когда летом в замок привозили барышню, когда она вся в белом выскакивала из черного ландо, заваленного кожаными чемоданами, вся так и благоухающая юностью, она всякий раз, прежде чем меня поцеловать, положит, бывало, мне обе ручки на плечи и скажет: "Боже, какой же у тебя скверный вид, бедняжечка Филомена!" И вот как-то ее привезли из города гораздо раньше, чем обычно, не летом, а весной. Никогда я еще ее такой красавицей не видела, только уж много позже я заметила, как она исхудала. Но самое удивительное, что с этих самых пор я неведомо почему начала чувствовать себя лучше. Слуги, бывало, и те меня не узнавали. "Физиономию, что ли, тебе подменили?" - смеялись они. Да вовсе не в одном лице тут дело: мне казалось, будто меня ждет великое счастье, что приходит наконец и

мой черед.

Теперь в присутствии барышни я совсем не конфузилась. Впрочем, весь дом со мной носился, что-что, а за больной так ухаживать, как я, никто не сумел бы. Из последних сил выбивалась: бывало, подряд трое суток глаз не смыкала, хотя никакой нужды в этом не было, все гляжу, как она спит. Очень возможно, что когда я вот так смотрела на нее спящую, я и приохотилась бодрствовать ночами при покойниках. Незадолго до восхода солнца на лице ее угасало не только сияние юности, но и сама юность как бы уходила. Такое лицо у нее лишь только я одна и видела. И в эти минуты разделявшее нас расстояние словно бы исчезало. Можно даже подумать, что в часы самого крепкого сна вся ее сила, вся ее свежесть уходила от нее и вливалась в меня. Как будто в жилах моих бежала чья-то другая кровь. Порой барышня сердилась. "Ты чего так на меня смотришь?" - спрашивала она. "Ничего не бойтесь", - это я ей отвечала. А то прислонюсь щекой к ее щеке, а она потихоньку фыркнет. Однако не отворачивалась, моя жалость к ней была посильнее ее отвращения ко мне. Иной раз даже она положит мне голову на плечо и как зарыдает.

От белокурых ее волос шел запах вереска, такой

нежный запах, что я даже начинала мечтать о любви, это я-то, которая никогда о мужчинах и не помышляла. Но даже в такие минуты я о ее болезни помнила, потому что лоб ее был покрыт холодным липким потом. Все время она с брезгливой гримасой вытирала его кончиками пальцев, ну а я, понятно, притворялась, будто ничего не замечаю. Как-никак, ведь это была общая наша тайна. И долго все оставалось втайне, потому что с утра она румянилась, да так искусно, что мать слишком поздно обнаружила, что болезнь идет гигантскими шагами. Такие болезни вообще быстро идут. Я сама слышала, как говорили доктора: "Она не борется с недугом..." А зачем бороться-то? Спустя несколько недель, когда мы оставались с ней вдвоем, она уже перестала притворяться.

Думаю даже, что ей доставляло удовольствие показываться передо мной, какой она стала на самом деле - мертвенно-бледной под слабым слоем румян, с потухшими глазами, и в вырезе ее рубашечки - как же я в свое время завидовала, что у нее такое чудесное белье, - виднелась впалая грудь. Кто знает, может быть, так она отдыхала после целого дня, когда разыгрывала комедию? Теперь она требовала, чтобы я ночевала у нее в

спальне на раскладной кровати. Дед заказал ей на осень комнату в одном заведении санаторием зовется, это как бы больница для миллионеров. "Торопиться некуда, - убеждал он дочь. - Летом у нас здесь такой же здоровый климат, как и там; да и ты сама видишь, она часу обойтись без Филомены не может". Что правда, то правда, она все больше привязывалась ко мне, а я к ней. Барыня даже начала на меня косо поглядывать. "Филомена совсем себя не щадит", говорил дедушка. А барыня отвечала: "Ты, значит, просто не замечаешь, как она растолстела". И это правда. Бессонные ночи мне были нипочем, я как-то умею без сна обходиться. И барышня тоже обходилась без сна, а может, просто разлюбила спать.

Днем она была на ногах, как и обычно, иногда даже смеялась, сама слышала. Хотя я старалась как можно реже днем ей на глаза попадаться, но если уж случайно попадалась, она как-то странно улыбнется, принужденно так. Когда мы вечером оставались с ней вдвоем, она поначалу притворялась, будто спит. К полуночи просыпалась - кашель ее душил. Я присаживалась к ней на кровать, рубашка ее от пота прилипала к телу. А когда приступ проходил, она становилась беспомощной, как малое дитя; твердила, что скоро

умрет, что прекрасно это знает, что ей стыдно слушать, как доктора все врут. Вот с этих-то пор я и стала думать, что человек должен покорять-ся смерти. Она часами плакала потихоньку, не всхлипывая, даже слез не смаргивала, казалось, это сама жизнь уходит из нее слезами. В конце концов и я тоже начинала плакать. "Как же ты меня любишь!" - говорила она. Да что там! Эти слезы мне во вред не шли, потому что я никогда не уставала. Напротив, такого аппетита у меня в жизни не было. Прибегу на кухню первая, когда молоко к завтраку еще не закипело. Кажется, камни бы и те сглодала.

Было видно, что старушка уже говорит толь-ко для себя самой, совсем забыв о присутствии Мушетты; сверток так и остался лежать у нее на коленях, она обхватила его дрожащими руками. Какие потаенные глубины, какие тайники души всколыхнула в ней эта повесть? Да только всколыхнула ли?

- А что с вашей барышней дальше было? - задала вопрос Мушетта внезапно охрипшим голосом.

Она нервно схватила за запястье свою собеседницу и уперлась ей в лицо не предвещавшим доброго взглядом, как в самые свои черные дни.

- Ты меня, детка, совсем перепугала. На чем это

я остановилась? Уже не помню. Я вроде задремала, а ты меня рывком разбудила.

Как ни коротка была передышка, к Мушетте вернулись силы. Она чувствовала, что щеки ей заливает слишком знакомый жгучий румянец, что виски болезненно сжимает - верный признак близкого приступа упрямой злобы, так раздражавшей Мадам.

- Противная, грязная старушонка, терпеть вас не могу. Да будь я на месте этой барышни, я бы вас лучше удушила.

- Нет, вы только посмотрите на нее, - спокойно, ничуть не испугавшись, произнесла старуха. - Настоящая дикая кошка! Да что у тебя, черномазой, общего с барышней, а? Она беленькая, свеженькая была, а ты, ты на цыганку похожа!

И неожиданно для Мушетты, так что девочка не успела даже ощетиниться, она приблизилась к ней, положила ладонь ей на грудь, там, где бьется сердце.

- Я тебе только добра желаю, - проговорила она. - Ты плохая девочка, но только потому, что многого не понимаешь. По-моему, вся твоя история мне уже известна. Говори, говори же спокойно, дочка.

Она свернулась клубочком в глубоком кресле,

а руки ее заходили вверх и вниз - вдоль черного платья, особенно же быстро шевелились пальцы, и казалось, это даже не пальцы, а маленькие серые зверьки, бесшумно подстерегающие невидимую добычу.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Заброшенный уже давно за ненадобностью песчаный карьер. Вырыли его почти у самого подножья холмов, так что мало-помалу туда набралась вода. Каждую зиму ручей - его трудно даже разглядеть под обрушенными на него в ходе работ вековыми валунами - начинает вновь потихоньку струиться, и по множеству канавок стекает по отлогому склону, добирается до равнины и там, прежде чем слить свои воды с водами ручья Планке, образует миниатюрный прудик, такой прозрачный, с таким бело-розовым гравием, устилающим дно, что его справедливо опасаются головастики.

Подружки Мушетты назначают здесь мальчикам свидания. Но в это воскресное утро здесь ни души. Для пущей надежности она перелезает через бывшую насыпь. После постоянных обвалов здесь образовалось нечто вроде узкой пещеры, доступ в нее запрещен из-за ненадежности грунта, о чем предупреждает надпись у входа, разукрашенная непристойными рисунками хулиганов-мальчишек, и при лунном свете

длинная тень, падающая от дощечки с надписью на белесый бок холма, напоминает распятье.

Отсюда, с высоты, Мушетте видна вся лощина, где притулилась их хибарка. К небу из трубы тянется узенький столбик дыма. Ноздри ей щекочет запах мокрого песка, такой отличный от всех других запахов земли, к которым она уже давно принюхалась. Здесь пахнет свежей известкой, новым, еще не обжитым домом, а также чуточку солью и водяной пылью. Сотни раз она вот в такие же утренние часы забывала здесь тошнотворное тепло их саманной хижины, и однако же, каждый вечер вновь окуналась в него с покорностью загнанного зверя - и не без тайного удовольствия. Ибо отвращение было единственным подлинным покоем для дикого ее сердечка среди ненавистных или презираемых людей. А так как она была неспособна объять разумом свой природный бунт, свое, вряд ли даже осознанное, неприятие, именно так мстила она сама себе за непостижимое одиночество, совсем так, как случалось ей, дойдя до последних рубежей усталости, нарочно улечься прямо в месиво дорожной грязи.

Теперь она отдавалась этой усладе отвращения с незнакомой ей раньше ясностью, и это казалось

чудесным. Старуха Филомена сказала именно единственно нужные слова, которые могли заставить Мушетту растрогаться над собственной своей долей! То, что далось бы без труда девушке городских окраин, чье воображение уже достаточно обогащено романами, печатающимися в газетах, и киноэкраном, Мушетта проделывала теперь с мучительной неловкостью. Потребовалось воистину нечеловеческое усилие хотя бы просто для того, чтобы понять, что ее разочарование в любви все же подняло ее таинственным путем на некую более высокую ступень, что она разом вступила в некий романтический мир, смутно угадываемый из случайно прочитанных книг, что отныне она принадлежит к тому привилегированному племени, где чувствительные сердца выискивают богатую добычу для сострадания, как вылавливает гурман в своем живорыбном садке самую прекрасную форель.

Да, старуха сказала единственно нужные слова. Прямо чудо, что ей удалось выведать тайну Мушетты. С помощью какого колдовства? Ибо слов все-таки было бы мало для того, чтобы отошло это замкнутое наглухо сердце, чтобы открылся источник слез. Впрочем, Мушетта никаких слов и не запомнила.

Только слово "смерть" звучало в ее ушах так, будто она услышала его впервые. Еще вчера оно было полое, черное. Внушало лишь тупой, смутный страх, не поддающийся определению, - и если обычно она избегала его произносить, то совсем не из-за суеверной щепетильности, а из-за жестокого равнодушия к ее жертвам. Впрочем, слово "старость" и "смерть" до сих пор, как и в самом раннем детстве, казались ей почти что синонимами - двумя ликами одной и той же реальности.

И вот сегодня, когда она думала о собственной смерти, сердце ее сжимал уже не страх, а тревога перед сказочным откровением, неотвратимым раскрытием некоей тайны, той самой тайны, в которой ей отказала любовь. Конечно, она создала себе об этом загадочном событии какое-то еще совсем детское представление, но этот образ пьянил ее теперь щемящей нежностью, хотя вчера еще оставлял равнодушной. Так вдруг промелькнет перед нами в свете желания знакомое лицо, и мы сразу догадываемся, что уже давным-давно оно дороже нам самой жизни.

Легкий сверток так и лежит у ее ног прямо на песке. Напрасно старается она представить себе лицо юной покойницы, вынимая одну за другой

заржавевшие от времени булавки. И вот на ее коленях разложена реликвия, почти столь же невесомая, столь же бестелесная, как вызванный воображением Мушетты призрак. Пальцы перебирают складки муслинового платьица. Какой смуглой, совсем черной кажется ее рука сквозь еле ощутимую ткань! С минуту она разглядывает эту руку с удивлением, потом с отвращением, наконец, чуть ли не с ужасом.

И в этот миг и по такому ничтожнейшему поводу жалость, которой она было прониклась к себе, вдруг разом исчезает. Обычно считается, что самоубийство такой же акт, как и все прочие, другими словами - последнее звено в длинной цепи размышлений или хотя бы образов, финал последней битвы между жизненным инстинктом и иным, более загадочным инстинктом неприятия, отказа. Однако это не так. Если не брать тех случаев, когда дело идет о маниакальной одержимости, разбираться в которой дело врача-психиатра, то обычно самоубийство - это необъяснимый феномен пугающей внезапности, невольно приводящий на мысль те химические разложения, по поводу которых современная наука, еще только начинающая лепетать, выдвигает лишь нелепые или противоречивые гипотезы.

Эта смуглая рука с грязными ногтями, она здесь, перед глазами, рука, уже покрытая сетью морщинок, уже полуувядшая и еще такая юная у хрупкого запястья. Сейчас она кажется неживой - кисть бессильно разжата, пальцы чуть скрючены. И на какой-то миг она видится Мушетте по-настоящему мертвой, словно уже зарытой в сырую землю. Она начинает ненавидеть эту руку, как если бы та принадлежала не ей, а кому-то другому, ненавидит, как некий странный, чужеродный предмет.

Большой палец чуть искривлен после нарыва, и рубец проступает белесоватой полоской. До чего же похож этот палец, расширяющийся к концу, словно нос лыжи, на отцовский палец, и ноготь такой же уродливый, огромный, выпуклый. Так или иначе, ее воспламененное воображение уже не отделяет их друг от друга. Такие руки бывают у тех, кто навсегда отмечен клеймом бед. Собственная рука вызывает в памяти лишь унижения, которым нет числа. Сколько раз Мадам демонстрировала всему классу, высоко подняв над учительской кафедрой эту неопрятную руку, - вот так и разносят микробы смертельных болезней те, кто пренебрегает основными правилами гигиены. А руки, что видела Мушетта несколь-

ко часов назад сложенными на впалой груди матери, тоже, конечно, были из той же породы проклятых. Еще, пожалуй, более проклятых, раз они впустую трудились столько лет!

Покойная мать не отличалась нежностью, и на долю Мушетты от этих преждевременно постаревших рук немного перепало ласки. Да и ласки ли? Быть может, когда-нибудь очень давно? Но она почти не помнит раннего своего детства, ибо таково свойство всех существ, рожденных под знаком мечты, первые годы жизни оставляют в их памяти лишь туманную смутную картину, и прояснится она много позже, много, много позже, на пороге старости, а возможно, лишь в смертный час. У большинства девушек, схожих с Мушеттой, жизнь по-настоящему начинается с пробуждением чувств. Но это-то время как раз и стало для Мушетты порой самых безжалостных трепок, потому что отец обладал в таких делах совсем особым, жестоким мужицким нюхом.

В подобных обстоятельствах было бы естественно, если девочка, такая же несчастная, нашла бы себе вне ненавистного очага хоть какую-то отдушину нежности, пусть даже двусмысленную дружбу с подружкой-ровесницей. Но всякий раз, когда Мушетте представлялся такой случай, она

инстинктивно отталкивала его чуть ли не вопреки собственной воле, в порыве самозащиты, что, впрочем, сама считала глупым, ибо причина была скрыта в потаеннейших уголках души и она не сумела бы найти ей объяснения. К тому же замкнутое выражение лица, взгляд, одновременно дерзкий и боязливый, не привлекали к ней симпатий. Короче, измученная и незадачливая Мушетта охотно согласилась бы никогда не узнавать сладости ласки, настоящей ласки. Но вот однажды...

Было это на ярмарке в Тремьере. Ей велели отнести в кабачок Дюмон улов отца - целую корзину угрей. Какая-то высокая белокурая девушка нечаянно толкнула Мушетту, прошла было мимо, но тут же вернулась и осведомилась, как ее зовут, однако ответа не получила. Тогда она погладила Мушетту ласково и чуть рассеянно по щеке. Сначала Мушетта даже внимания не обратила на такие пустяки. Но к вечеру ее стало мучить это воспоминание, и она всячески старалась изгнать его из памяти. Однако при первых отблесках зари, когда Мушетта проснулась на жиденьком тюфячке, - такие тюфячки в базарные дни мадам Дюмон клала прямо в узеньком коридорчике, заставленном пустыми бидонами и

бутылями, где острый винный запах смешивался с жирной и пресной вонью керосина, - вот тут-то дневное происшествие вдруг предстало перед ней до неузнаваемости не таким, как на самом деле. Еще полусонная, она подсунула под щеку согнутую руку, и вдруг - каким чудом? - почуяла еле уловимый аромат той теплой ладони и этой руки, такой явственной, такой близкой, такой живой, что она не раздумывая подняла голову и протянула губы для поцелуя.

Тогда ей было всего десять, но сердце ее уже достаточно очерствело, чтобы без труда отогнать эту загадочную слабость. Вплоть до краткой встречи с красавцем браконьером ей ни разу не удавалось совладать с тем необъяснимым бунтом, который после мгновенного и напрасного порыва вновь погружал ее в пучину дикарскою одиночества. Но подобно тому, как глубинное поражение нерва через незримые каналы проходит болью по всему телу и очаг ее оказывается внезапно так далеко от раны, что вводит хирурга в заблуждение, так и сейчас, несмотря на то что воспоминание о той незнакомке и ее беглой ласке почти изгладилось из памяти, Мушетта начала разглядывать свои руки с каким-то неестественно острым любопытством, с тайным отвращением.

Недаром Мушетта не могла отделаться от чувства вечной неловкости под чужим взглядом - под взглядом Мадам она краснела до ушей, она уже давно обнаружила удивительную способность человеческих рук к выражению всевозможных оттенков чувств, которая в сотни раз сильнее, чем, скажем, глаза, выдает нас с головой, потому что руки не слишком искусны во лжи, потому что их в любую минуту можно увидеть за тысячью дел, тогда как взгляд - неутомимый наблюдатель - вечно начеку под завесой век... Взять хотя бы руки отца, каждый вечер они спокойно сложены на коленях и особенно страшны при свете единственной лампы, бросающей вокруг пляшущие тени; так и кажется, что кости вот-вот прорвут туго натянутую кожу; а эти пучки рыжей шерсти, густо покрывающей каждый сустав огромных пальцев! И дедушкины руки тоже, она видела их мирно сложенными на животе, когда дедушка забирался летним днем в уголок потемнее и сидел там при закрытых ставнях, среди незримого облака мух... А руки братьев, слишком быстро превратившиеся в рабочие руки, в мужские руки. А руки крестьянок - от этих рук несет кислым молоком, запаркой для телят и свиней. Даже руки Мадам, правда, они гораздо меньше, зато

кончики пальцев истыканы иглой и все в черных точечках... Трудолюбивые руки, руки землепашца, руки неутомимой хозяйки - в состоянии покоя они просто смешны. И бедняки сами понимают, что смешны, так как стараются спрятать подальше праздные руки от любопытных взглядов. Ведь недаром о принарядившемся ради воскресного дня рабочем говорят: "Он не знает, куда руки девать", жестокая шутка, коль скоро насмешник обязан хлебом своим насущным труду этих рук.

Носком башмака Мушетта случайно наступает на подол легчайшей ткани, уже источенной годами, и от резкого ее движения вся юбка расползается снизу доверху. Потому что муслин сделался не толще паутины. Девочка пытается отцепить шелковистую материю от рук, но она почти невесома, липнет к грубой шерстяной юбчонке и окончательно разлезается лохмотьями.

Не в этот ли миг Мушетта ощутила второй прилив той смутной силы, что пробудилась в самых сокровенных, самых потаенных уголках ее существа? Этот новый прилив столь властен, что она начинает топтаться на узенькой площадке и стонет, как зверек, попавший в капкан. Однако мысль о смерти еще не окончательно сложилась в голове, и она всматривается в пруд, поблески-

вающий у ее ног, еще рассеянным взглядом. Не хочет она умирать. Скорее уж это чувство похоже на неодолимый приступ непонятной стыдливости, загадочной робости, такая вдруг ни с того ни с сего накатывает на человека нервного, причем не в обществе незнакомых людей, а в кругу своих близких, посреди жаркой беседы, накатывает с внезапностью эпилептического припадка и так же внезапно отгораживает его от всех прочих незримым кругом тишины и одиночества, и кажется даже, что он, обезумев, кружится на месте, подобно скорпиону, схваченному кольцом огня.

Ни на миг в мыслях Мушетты не возникает образ того человека, в чьих объятиях она побывала, с кем делила всю эту ночь ребяческого и зверского кошмара. В подобные минуты гнев и стыд могли бы обернуться надеждой, ибо такие страсти несут в себе тайное желание взять реванш. Но ее необузданное, чисто плотское воображение никогда не переступало за рамки настоящего, и в этот торжественный час будущее стало для нее еще сильнее, чем когда-либо, просто словом, лишенным всякого смысла. "Зачем?" - страшный, неумолимый вопрос, на который не может дать ответа ни один действительно одержимый страстями человек и который может спасти лишь

редких героев в силу некоей чудесной благодати, ибо вопрос этот обычно оборачивается против спрашивающего, символ древнего змия, а быть может, и сам змий, - такой вопрос не коснулся губ Мушетты. Он, смутный, просто заложен в ее душе, подобно мине, взрывающейся в глубинах вод: взрыв доносится до нашего слуха только глухим ворчанием, хотя неукротимое волнение вздымается уже из безгласной пучины. Точно так же смертоносная сила, исчадье ада, неусыпная и ласкающая ненависть, расточающая перед богачами и сильными мира сего тысячи дьявольских своих соблазнов, сила эта может лишь врасплох завладеть обездоленным, кого отметило проклятое клеймо нужды. Ей приходится украдкой, день за днем следить за обездоленным с пугающей настойчивостью и, разумеется, с тайным ужасом. Но как только приоткроется в этих простых душах брешь отчаяния, им в их неведении не остается ничего другого, как самоубийство, самоубийство бедняка, так похожее на самоубийство ребенка.

С площадки свисала полоска муслина, и ее не шевелил ветер.

Теперь уже взгляд Мушетты не отрывался от крохотного заброшенного прудика. Когда на него падали косые лучи солнца или когда его

накрывала тень, вода попеременно то тускнела, то переливалась муаровым блеском.

Инстинкт шепнул несчастной девочке об опасности, но лишь шепнул, и она начала спускаться с откоса, понурив голову, тщетно пытаясь собрать воедино рассыпавшуюся несвязную череду картин, подобную взвихренному ветром хороводу опавшей листвы. Разумеется, она догадывалась о смысле этой тревоги, этого смятения, этого оцепенения ума, как бы скованного приливом вдруг сгустившейся крови, которая тяжело билась в каждой жилке. Но нынче это оцепенение было предвестником сна после приступа лихорадки, когда открываются все шлюзы пота. Только она не знала, какого сна.

Повернувшись спиной к пруду, она подняла глаза на привычный пейзаж со смутной надеждой найти там защиту, поддержку. И она уже обратила взгляд на дорогу, которая, опоясав лес, резко уходила вниз, в долину, как бы повисшую между небом и землей. На ту самую дорогу, которой она проходила сотни раз осенью по воскресным дням вдоль живых изгородей, усыпанных ягодами ежевики... Слезы подступили к глазам. Во всяком случае, она почувствовала, как жжет у нее под веками... Но в ту же самую минуту она услышала

цокот лошадиных подков на Мезаргской дороге, и почти сразу на вершине холма появилась грузная кобыла дядюшки Менетрие. Человек и лошадь были совсем близко, так близко, что она слышала, как чертыхается про себя старик, так просто, по привычке, проклиная свой катар.

Первым порывом девочки было бежать, но ноги словно свинцом налились. По мере того как приближался дядюшка Менетрие (тут дорога делала изгиб, и до нее было рукой подать), сердце Мушетты все громче стучало в груди, как у игрока, который не спускает глаз с рук сдающего, зная, что от следующей выпавшей карты зависит вся его жизнь. На мгновение взгляд старика упал на нее, равнодушный взгляд животного. Ей бы крикнуть, позвать, броситься вслед за своим спасителем, пускай даже таким нелепым. Но он уже тяжело протопал мимо, и Мушетте почудилось, будто несуразный его силуэт удаляется со сверхъестественной быстротой, словно его всасывает пустота. От этой умопомрачительной быстроты даже голова закружилась. Для человеческого существа, чьи мускулы еще покоряются воле, собственное его тело становится лишь призраком.

Самоубийство, как таковое, в действительности пугает лишь тех, кто не пытался покончить

с собой и никогда не покончит, ибо черная бездна принимает только того, кому самой судьбой предназначено сойти в нее. Тот, кем владеет смертоносная воля, еще не знает, так ли это; он догадается об этом в последний миг. И последний проблеск мысли человека, кончающего с собой, если только он не сумасшедший, - это, должно быть, ошеломляющее, безнадежное удивление. За исключением безумцев, подсудных иному, никому не ведомому закону, никто никогда не пытался, в случае неудачи, убить себя во второй раз.

Вблизи вода казалась совсем прозрачной. Ил, устилавший дно, был серого, почти зеленого цвета, ласкал глаз, как бархат.

Но в тысячи раз ласковей был голос, что говорил в сердце Мушетты. Да и голос ли это? Мушетта вслушивалась в него так, как слушают животные голос своего хозяина - понукающий или успокаивающий. Голос этот был похож на голос старухи Филомены, но также и на голос Арсена, а иногда даже напоминал голос Мадам. Понятно, он не говорил ни на одном существующем языке. Был он лишь неясным бормотанием, шепотом и с каждой минутой становился все тише. Потом совсем замолк.

Мушетта соскользнула с берега, ступила шаг, другой, пока не почувствовала в икрах и бедрах слабое покусывание холодной воды. Вдруг владевшая ею тишина стала всесветной. Так толпа удерживает дыхание, когда эквилибрист взбирается на последнюю ступеньку уходящей в головокружительную высоту лестницы. Слабеющая воля Мушетты окончательно растворилась в этой тишине. Повинуясь ей, она скользнула вперед, держась одной рукой за кромку берега. Простое движение кисти вполне могло удержать на поверхности ее тело, впрочем, здесь было мелко. И вдруг, подчиняясь правилам некоей пагубной игры, она откинула назад голову, глядя в самый зенит неба. Коварная вода охватила ее затылок, залилась в уши с веселым праздничным журчанием. И, сделав легкое движение всем телом, она почувствовала, что жизнь украдкой уходит от нее, а в ноздри ей уже бил запах самой могилы.